

An impressionistic painting of a coastal scene. In the foreground, a dark, textured path leads towards a wooden pier. The pier has several vertical posts and a small structure at its end. In the background, a lighthouse stands on a small island, with other distant islands visible on the horizon. The sky is filled with warm, textured brushstrokes in shades of yellow, orange, and pink, suggesting a sunset or sunrise. The water is depicted with cool, textured brushstrokes in shades of blue, green, and purple.

Анна Берсенева

Ловец мелкого жемчуга

Гриневы. Капитанские дети

Анна Берсенева

Ловец мелкого жемчуга

«Анна Берсенева»

Берсенева А.

Ловец мелкого жемчуга / А. Берсенева — «Анна Берсенева»,
— (Гринева. Капитанские дети)

ISBN 5-699-01319-9

Георгий Турчин обладает всеми качествами, которые делают мужчину неотразимым в глазах женщин. Но стоит Георгию приехать из провинции в Москву, как он видит, что его жизненная сила и страстность – далеко не залог успеха в неласковом мегаполисе. Первый же выбор, который он вынужден сделать, это выбор между искусством и деньгами. Он делает его в пользу денег – становится квартирным маклером – и сразу сталкивается с суровыми законами бизнеса. А влюбившись в иностранную журналистку, приходит к выводу о том, что совсем не обладает достоинствами, необходимыми успешному мужчине, каким его видит современная женщина: холодной расчетливостью, честолюбием, желанием сделать блестящую карьеру...

ISBN 5-699-01319-9

© Берсенева А.
© Анна Берсенева

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	20
Глава 4	26
Глава 5	34
Глава 6	38
Глава 7	45
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Анна Берсенева Ловец мелкого жемчуга

Дорогой читатель Литрес!
Я стараюсь писать свои
книжки так, чтобы мне самой
интересно было их читать.
Пусть будет интересно и
Вам.

т. Со —————
(Анна Берсенева)

Часть первая

Глава 1

– Все это, Герочка, происходит только от твоей провинциальной наивности. – Заметив недоумение в глазах Георгия, Марфа добавила: – Очень наивно предполагать, будто между тем, что человек говорит, и тем, как он живет, есть прямая связь.

Георгий не знал, что ответить. Марфа была первая женщина в его жизни, с которой он терялся. Правда, ее и нельзя было назвать женщиной в его жизни. Хотя бы потому, что ничего ближе, чем вот этот разговор в вечернем вагоне метро, у них не было и, судя по всему, не предполагалось. Марфа была настоящая московская девушка, это Георгий успел понять за тот месяц, который учился во ВГИКе. Говорит, что думает, не боясь обидеть собеседника и ни секунды не предполагая, что он вообще способен обидеться. Не сомневается в своем праве говорить именно так, потому что знает, что ее право подкреплено природными способностями, правильным воспитанием и хорошим образованием. И внешностью, которую увидишь – не забудешь.

Из-за этой ее внешности Георгий каждый раз нарушал самому себе данное слово: не разговаривать с Марфой о том, что его действительно волнует. Или хотя бы разговаривать об этом небрежным тоном. Но стоило ему увидеть ее поблескивающие черные глаза, каштановую легкую прядь... Эта выющаяся прядь, совсем тоненькая, всегда чуть-чуть отделялась от густых волос, заплетенных в косу, и лежала у Марфы на щеке воздушной волной, и едва заметно трепетала, когда Марфа улыбалась, говорила, просто дышала... Черт знает что! Ничего Георгий не чувствовал к насмешливой Марфе, а от этой дурацкой пряди глаз не мог отвести, прямо заворачивала она его.

– Хоть убей, не понимаю, в чем наивность. – Кажется, ему все-таки удалось переменить тон, словно кто-то на бегу его остановил, схватив за плечо. – Он же мастер, да? И он много хороших вещей говорил на первом занятии. Что отношение оператора к теме должно чувствоваться на уровне всей пластики фильма и про субъективную камеру... А сам он – равнодушный, как рыба, и не то что к теме, даже к нам никак не относится, по-моему.

– А кто ты такой, чтобы он к тебе как-то относился? – Марфа улыбнулась, и прядь снова дрогнула у нее на щеке. – Ты ему посторонний человек, он в тебе ни капли не заинтересован. Да и никто в тебе ни капли не заинтересован, и нечему тут удивляться.

Георгий понимал, что Марфа спокойно выливает на него холодную воду своей московской правоты. И все-таки слушал, хотя ничего приятного в ее словах не было. В словах – не было, а во всем ее облике – было. И прядь эта, и улыбка, из-за которой он чувствовал себя маленьким мальчиком, и даже шелковая косыночка, чуть-чуть выглядывающая из-под воротника куртки. На уголке темно-фиолетовой косыночки угадывалась чья-то подпись – легкий росчерк бронзового цвета. И в этом небрежном летящем росчерке, принадлежащем, наверное, тому, кто придумал дорожную косыночку, от которой Марфа показывала только самый уголок, – Георгий чувствовал ту же снисходительность, что и в Марфином голосе.

В первом часу ночи людей в метро было мало, но Георгий с Марфой не проходили в вагон, стояли у самых дверей. Из-за Георгиева баскетбольного роста Марфа едва доставала ему до груди. Разговаривая, она закидывала голову и смотрела на него снизу вверх. Правда, он не думал, что она смотрит снизу вверх: как-то не подходило само это словосочетание к Марфе. Оттого что она смотрела вверх, вагонные лампы светили ей прямо в лицо, и казалось, что в глазах ее блестит живой интерес. Хотя, наверное, блестела в них только обычная Марфина насмешливость.

– Сам же говорил, художник должен чувствовать нюансы, – сказала Марфа. – А ты не чувствуешь. Все, Герочка, «Театральная», я выхожу. Тебе до «Лубянки». Пока.

И к этому он тоже никак не мог привыкнуть. Только что разговаривали о чем-то, что ему казалось важным, и вдруг дверь метро открылась, Марфа спокойно вышла, и дверь тут же захлопнулась снова. Ни сожаления о том, что разговор обрывается, ничего... Жизнь в ритме метрополитена.

Они ехали в последнем вагоне, и, пока поезд не отошел от платформы, Георгий еще успел увидеть, как мелькнула вверх по эскалатору Марфина длинная терракотовая юбка с сеточкой фиолетовых разводов. Все, что она носила, было таких неброских и вместе с тем таких насыщенных цветов, что само собою, без всякого ее усилия, впечатывалось в память. В его память, во всяком случае.

Георгий доехал до «Лубянки», поднялся вверх по почти пустому эскалатору. Он любил гулять вечерами по Москве. Так она ему нравилась, Москва! Неназываемо, маняще нравилась, она дразнила его и будоражила, и не было в его теперешней жизни ничего лучше, чем этот город. Да и прежде ничего лучше не было.

Но после разговора с Марфой настроение испортилось и Москва не радовала. Выйдя из метро к «Детскому миру», Георгий застегнул «молнию» на куртке. Как будто Марфа и правда облила его холодной водой, и теперь ему зябко – даже теплой октябрьской ночью, даже в грубой кожаной «косухе». Мокрый асфальт блестел в темноте как сталь, лужи словно ртутью были налиты.

Троллейбус пришел сразу, тоже почти пустой. Георгий устроился у окна, уткнулся носом в воротник. Этот троллейбус шел ко вгиковской общаге через пол-Москвы, было время подумать, повспоминать и помечтать о будущем, то есть заняться тем, что не позволяло скучать никогда и нигде, даже на дальневосточной ракетной точке. Но сейчас ему не хотелось ни вспоминать, ни тем более мечтать.

«Вот еду, – мрачно думал он. – Еду в троллейбусе по Москве. В последнем, случайном, прямо как в песне... Почему на самом деле все не так?»

Вряд ли Марфа была виновата в том, что главным чувством сегодняшнего дня, да и многих уже прошлых дней, было у Георгия разочарование. Марфа просто назвала ясными словами то, что он чувствовал и сам: он никто, и звать никак, и никто вообще, а мастер Муштаков, в частности, действительно не обязан проявлять к нему хоть какой-то интерес.

– Жорик, где тебя носило? – Федька влетел в комнату, когда Георгий уже снял со спиртовки маленький металлический чайник и насыпал в него заварку из жестяной коробочки. – А, в Дом кино ходил. Ну и как? Лерка с Лоркой день рожденья празднуют, я за бутылкой заскочил. На завтра заныкал, однако и на сегодня не хватило. Собутельнички, блин! С такими только дерьмо хорошо жрать: ничего не оставят, все сами подметут. Да брось ты свой агрегат, чай – не водка, много не выпьешь! Подгребай к девкам быстрее, все там давно.

Чем хорош был сосед по комнате Федя Казенав, так это тем, что не ждал ответов ни на вопросы свои, ни на предложения. Наверное, потому что новые вопросы и новые идеи рождались у него в голове и попадали на язык быстрее, чем окружающие успевали реагировать на старые. Георгию казалось, что в Федькиных круглых черных глазах постоянно пляшут точки и черточки, словно мелькают хвостики торопливых мыслей. Федька учился на сценарном, и, как догадывался Георгий, именно такое стремительное мелькание идей лучше всего соответствовало тому, что ему предстояло делать в будущем.

Пока Федька копался на своей полке в шкафу, Георгий заварил чай.

– Да что-то настроения на гулянку нету, Федот, – сказал он. – Может, позже подойду.

– Впечатления от кина в рыжей голове крутишь? – догадался Федька и подмигнул. – Или от Марфы? Ну, дело хозяйское. А то поделился бы с друзьями. В смысле, впечатлениями, не

Марфой. – И, засмеявшись собственной остроте, он выскочил из комнаты, добавив, уже стоя в дверях: – Ладно, если все-таки надумаешь – ждем-с!

Георгий держал кружку двумя руками, согревал ладони и по привычке следил, как дышит, волнуется тонкая пленка пара над поверхностью крепкого чая. Он действительно «крутил в голове» впечатления от «Фаворитов луны», которых они сегодня смотрели с Марфой в Доме кино. Фильм этот, с его мимолетными, друг в друга переливающимися образами, действительно стоил того, чтобы крутиться в голове до бесконечности. Но тоска, навалившаяся еще в метро и не исчезнувшая за всю дорогу к общаге, все-таки не проходила. И в гости к близняшкам с актерского, Лерке и Лорке, у которых гудела сейчас веселая компания, не хотелось именно поэтому.

«Как Марфа про этот фильм сказала? – вспомнил Георгий. – Что он как стихотворение. «Как на узорчатой тарелке...» Что-то там художник рисует на тарелке. Нет, на стеклянной тверди. И вроде про смерть, что он смерти не боится, кажется... Елки, забыл! Пробкой меня заткнули, что ли?» – сердито подумал он.

Память у него была такая, что забыть несколько стихотворных строчек он просто не мог. Но забыл же!

Чтобы отвлечься от своего дурацкого, абсолютно пустого состояния, Георгий взял со стола книгу и раскрыл на первой попавшейся странице. Это была его любимая книга – «Папийон» Шарьера. Георгий вспомнил, как Зина сказала ему в последнюю их ночь в гарнизонной библиотеке, за стеллажами: «Да не возвращай, оставь себе, Гошенька. Кому ее тут читать, кроме тебя?» – и погладила его по щеке не девическим, а женским, даже бабьим каким-то жестом, который возбуждал и раздражал одновременно.

Книга открылась на тех страницах, где Папийон, бежав из тюрьмы, попадает к индейцам, которые занимаются ловлей жемчуга. Это были прекрасные и совершенно загадочные страницы. Почему индейская девушка Лали заставляла своего белого мужа разжевывать и глотать разноцветные жемчужины – белые, розовые, серые, черные? Может, у мужчины, если он проглатывает жемчуг, появляется какая-то особенная сила? Этого автор не объяснял, но Георгий видел, как все это происходило, так ясно, как будто это происходило с ним самим: пустынный берег, сероглазая голая девушка протягивает жемчуг на исцарапанной кораллами ладони, зубы у нее сверкают, как этот жемчуг, который она только что достала со дна моря, а на теле нарисовано какое-то гибкое растение – его ветви поднимаются до самой груди и заканчиваются на сосках розовыми цветами...

«Я стал привыкать к своей новой жизни и понял, что не следует заходить слишком далеко, иначе привычка может перерасти в потребность, и тогда вообще не захочется уходить», – читал Георгий.

Это была первая книга, которую он увидел как фильм. В голове своей увидел, не на экране, и задрожал весь, словно от страха, потому что представил все это именно на экране, и так ясно, как будто снял все сам.

Георгий был уверен, что с местом службы ему повезло. Да он и вообще был везунчик – наверное, из-за рыжей своей, пылающей головы. Может, дело было и не в том, что исполнялась примета – рыжим везет, – а просто люди видели эту голову, похожую на костер, им становилось весело, и они невольно хотели что-то сделать для парня, к широченным плечам которого такая выдающаяся голова приставлена. Но, с другой стороны, на сборный пункт-то Георгий пришел обритым наголо. Поэтому то, что он попал не на три года во флот, а на дальневосточную ракетную точку, можно было считать везением в чистом виде, без внешних факторов.

– Ого! – хмыкнул прапорщик, обходивший выстроившуюся на плацу шеренгу новобранцев. – Как фамилия, откуда такой?

– Рядовой Турчин, из Таганрога, товарищ прапорщик! – громко доложил Георгий, впрочем, не демонстрируя особого рвения.

– Гля, плечищи какие отрастил! А чего в десантуру не взяли?

– Плоскостопие.

– А-а... В баскетбол играешь?

Георгий вздохнул. Этот вопрос задавал, знакомясь с ним, каждый второй. Или каждый первый – если из дураков.

– Не играю, – привычно ответил он. – Фотографирую. Стенгазету могу делать, клуб оформлять.

Гарнизон был замкнутый, удаленный от всего белого света, и все здесь знали друг друга как облупленных. Можно было посочувствовать офицерам: даже любовницу толком не завести, супруга быстрее узнает, чем до дому дойдешь от этой самой любовницы. Правда, при взгляде на служивших здесь офицеров меньше всего могла прийти в голову мысль, что кому-нибудь из них может понадобится любовница. Мужики пили по-черному, грубели на глазах, и даже молодые лейтенанты уже через год после училища начинали разговаривать так, как все здесь разговаривали: не договаривая окончаний не только фраз, но даже слов. А чего там договаривать, небось и так все ясно! Все вообще ясно, никаких открытий жизнь не готовит, здесь каждый это понимал очень быстро...

Георгий армии не боялся. Ни того, что два года придется провести среди посторонних людей, постоянно у кого-то на глазах, ни того, что придется подстраиваться под чужие жизни и подчиняться дуракам. Он вообще мало чего боялся, да к тому же легко осваивался в любой среде, сам не замечая, как это происходит. Вроде и балагуром он не был, и ни перед кем не заискивал, но всем сразу начинало казаться, что они сто лет знают этого парня – рыжего, высокого, приметного.

Идея с оформлением стенгазеты понравилась не только прапору, но и ротному замполиту. То есть заместителю командира по воспитательной работе, так он теперь назывался. Правда, Георгий не умел рисовать людей, но изобразить что-нибудь неодушевленное, вроде автомата Калашникова, или написать краской лозунг, или обвести что надо ровными рамочками – это без проблем.

– Ты, это, Турчин, в библиотеку сходи, – распорядился старлей Беденко. – А то, понимаешь, двадцать третье февраля на носу, а у нас Костров дембельнулся. Какой художник был! Стенгазета в прошлом году – картинка, первое место взяла в дивизии. Выходит, новую придется делать: ту-то запомнили, не повесишь больше. Короче, ты там возьми в библиотеке. Ну, журналов каких, чтоб с картинками. Отбери чего надо. Ракетные установки сам изобразишь, а людей – типа аппликацию сделай, как в детском саду.

До этого, да и до чего-нибудь более оригинального, Георгий и сам бы додумался, без Беденкиных дизайнерских находок. Но излагать свои идеи замполиту он не стал и пошел в библиотеку.

Он едва добрал от казармы до Дома офицеров. Дальневосточные ледяные ветры – это было единственное, к чему он после таганрогской мягкой зимы привыкал тяжело. Снег резал лицо, в сплошной метели еле угадывалось двухэтажное здание с треугольным фронтоном. Но когда Георгий вошел наконец в темный вестибюль и, поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, открыл дверь в библиотеку, – ему показалось, что мир изменился. Он остановился на пороге, как деревенский мальчик, впервые попавший в городской дом. Хотя с чего бы ему было удивляться, что он, книг не видел?

Но в этой комнате было что-то такое, чего Георгий не видел – вернее, не чувствовал – никогда и, главное, меньше всего ожидал почувствовать в армейском клубе. Потолки здесь были высокие, и сама комната казалась просторной и светлой, несмотря на множество книжных стеллажей. Или, наоборот, благодаря множеству стеллажей, сделанных из светлого некра-

шеного дерева. Из такого же дерева был сделан высокий барьер перед стеллажами. Георгию показалось, что за барьером никого нет, но тут же из-за него выглянула, привстав, девушка. Наверное, она сидела за столом и, наверное, была невысокого роста, потому что даже макушка ее не виднелась из-за барьера, пока девушка не встала.

– Ой, кто это? – спросила она.

Георгий удивился, увидев ее. То есть не тому, конечно, удивился, что в библиотеке есть библиотекарша. Но как-то не верилось, что именно эта девушка может быть хозяйкой именно этой комнаты, что это благодаря ей здесь установилось такое неожиданное, такое странное ощущение достоинства и покоя.

– Рядовой Турчин, – доложил он и улыбнулся девучкиным глазам – небольшим, но широко открытым и таким же светлым, как окна и книжные стеллажи. – Прибыл по поручению старшего лейтенанта Беденко искать материалы для стенгазеты. Здравствуйте.

– Ой, здравствуйте! – сказала девушка. – Вы шинель снимите, а то холоду напустите с коридора. Да проходите, проходите, двери закрывайте.

Георгий заметил рядом с барьером включенный обогреватель, из-за которого в комнате было тепло. А девушка... Это была первая девушка за последние несколько месяцев, которую он видел так близко, да еще в такой тихой светелочке. И так она ему сразу понравилась! Да и что в ней могло не понравиться? Она была маленькая, светлые ее волосы были убраны вверх, скручены большим узлом и заколоты шпильками. Это была слишком взрослая, слишком тяжелая прическа, совсем для такой маленькой девушки не подходящая. Но зато был ясно виден абрис ее лица – тоже светлый, словно тоненькой линией обведенный.

«Как в контражуре – свет рефлксирует», – машинально подумал Георгий.

И еще видно было, как мгновенно порозовели ее щеки, а круглые ушки и вовсе покраснели, словно кто-то надрал их за какую-нибудь детскую провинность или просто девушке жарко стало в ее белом вязаном свитере.

– Тебя как зовут? – спросил Георгий.

На вид ей было лет восемнадцать, если не меньше, и обращаться на «вы» было просто глупо. Тем более что она смотрела растерянно, почти испуганно, как будто он был первым солдатом, которого она увидела.

– Зина, – ответила девушка.

Выражение растерянности, едва ли не испуга в ее глазах наконец исчезло, и она улыбнулась.

– А меня Георгий. Хорошо у тебя! Чисто, светло... Знаешь, у Хемингуэя рассказ такой есть – «Там, где чисто, светло»?

– Не-а, – покачала головой Зина. – Не знаю. А тебе что для стенгазеты сказали взять?

– Что приглянется. Посмотреть надо, – объяснил он. – Разрешить посмотреть?

– Ой, да смотри, пожалуйста! – Зина вскочила, вышла из-за стойки. – Показать?

Теперь она стояла прямо перед Георгием и смотрела на него снизу вверх. Да и как еще она могла смотреть – такая маленькая на такого большого?

– Покажи, – кивнул Георгий. – «Огоньки» старые, если есть. У вас тут вообще как, журналы выписывали когда-нибудь?

– Еще как выписывали! – Зина заговорила быстро, словно боялась, что он сейчас развернется на сто восемьдесят градусов, распахнет дверь и снова исчезнет в холодном темном коридоре. – У нас тут знаешь какая библиотекарша была? Марина Францевна, настоящая дворянка, вот какая. Из ссыльных, в поселке жила, видел поселок? Вас через него везли, сюда другой дороги нету. Она все-все книжки выписывала, какие только выходили, и журналы тоже. С издательствами списывалась, с редакциями всякими, они ей высылали, даже когда дорого все стало. Зато, она говорила, книжек стало много, хоть и дорого. Померла старушка в прошлом году, жалко как.

– Тогда знаешь что? – сказал Георгий. – Я тогда вообще все посмотрю, не только журналы, ладно? Когда еще сюда вырвусь... А ты работай, работай, не обращай внимания, – добавил он, заметив на Зинином столе открытую книгу и тетрадку с недописанной строчкой.

– Это не по работе, это я в библиотечном техникуме на заочном учусь. То есть в колледже. В Уссурийске. Контрольную делаю по современному русскому. Только ты не бойся, что тебя больше не пустят. Я отца попрошу, он тебе разрешение даст, хоть каждый день приходи. Если захочешь... – добавила Зина, и ушки ее опять покраснели.

Но это Георгий уже видел краем глаза и слышал краем уха. Он нырнул в глубину библиотеки, а Зина осталась стоять у своего стола, глядя ему вслед.

Непонятно, отчего она вспомнилась сегодня. Может, просто потому, что не шло из головы Марфино лицо, а Марфа тоже смотрела снизу вверх. Но ведь ничего общего не было между Зиной и Марфой! Просто невозможно было найти более несхожих девушек – во всем, и особенно в отношении к нему. Да на него ведь и все поневоле смотрели снизу вверх; до сих пор Георгию не встречались девушки такого роста, чтобы могли разговаривать с ним иначе. В общем, просто ассоциативное мышление: свет заблестел в Марфиных глазах, вот и вспомнилось.

Он допил чай, закрыл книгу, подумал: «Схожу, все равно голова пустая».

В подарок Лерке, Лорке и всей компании можно было отнести бутылку абрикосового самогона, которая каким-то чудом сохранилась после месяца бурных знакомств с однокурсниками. Вообще-то Георгий собирался выставить эту бутылку через неделю, в собственный день рождения. Но его способность планировать будущее имела разумные пределы, поэтому явиться в компанию, где явно не хватает выпивки, имея дома про запас такое сокровище, – этого он не мог.

Правда, и близняшки-именинницы, и все, собравшиеся в их гостеприимной комнате с разрисованными стенами и вечно выбитой дверью, обрадовались Георгию все-таки раньше, чем увидели абрикосовку.

– Привет убийцам времени, – поздоровался он, выставляя на стол бутылку. – Учтите, я трезвый как скотина, так что мне штрафную. Лерочка, Лорочка, с днем рождения!

– Жорик! Гошка! Рыжий! – раздалась в ответ радостные возгласы. – А мы думаем, кого это нам так не хватало? Выходит, тебя.

– Ладно-ладно, – улыбнулся Георгий. – Бухла вам не хватало, а не меня. Налетайте!

Глава 2

Через три месяца учебы во ВГИКе – вождественном, несбыточном, в который он не должен был поступить ни по каким показателям, но поступил все-таки, – Георгий не знал, рад он или разочарован.

Ему многое здесь нравилось. Например, смотреть фильмы, особенно западные или русские дореволюционные, с Мозжухиным и Верой Холодной, которых он раньше видел только в книжках о кино. Нравилась лекция по зарубежной литературе. Нравилось снимать фотоэтюды, особенно по свету. Но все остальное... Собственно, Георгий и не знал, было ли вообще что-нибудь «остальное». Может, оно и складывалось из каких-то мелких, незаметных, повседневных вгиковских событий, но Георгий не чувствовал его, не замечал – и терялся.

Все дело было в Романе Иннокентьевиче Муштакове, набравшем первый курс операторского факультета. Именно в нем заключалось главное разочарование от ВГИКа, от Москвы и от будущего.

«Может, надо было просто не очаровываться? – думал Георгий, в очередной раз узнавая, что занятий с мастером на этой неделе опять не будет, а когда будут – неизвестно. – Ну, обнадежил человек пацана из глубинки, сделал подарок, принял в институт. Мало тебе, что ли? Учись да радуйся».

И тут же понимал, что ему вот именно мало. Страстность ему мешала и способность полностью отдаваться тому, что хотя бы ненадолго занимало воображение. Это сразу чувствовали в нем женщины, и, наверное, это вызывало у них интерес. Но вообще-то, как Георгий быстро понял в Москве, в отношениях не с особо чувствительными женщинами, а со всеми остальными – нормальными, равнодушными к нему людьми, – страстность действительно только мешала, и больше ничего.

Он забыть не мог всего, что так неожиданно, так стремительно повело его к институту, к Москве, ко всему тому тревожному и странному, в чем он теперь не умел разобраться.

Вызов из ВГИКа пришел, когда Георгий уже перестал его ждать.

Он вернулся вечером домой, сел ужинать. Мать сидела напротив за столом, смотрела, как он ест, как подкладывает себе блины, мажет их абрикосовым вареньем, заваривает чай. Она всегда так сидела, когда сын ел, и всегда молчала, подперев рукой подбородок, или говорила о чем-нибудь неважном. Или пыталась сама подавать ему еду, но на это Георгий сердился. Мало того что никогда не ест вместе с ним, вечно как-то отдельно, словно украдкой, так еще и обслуживать его пытается, как официантка! К тому же ее суетливые перемещения только мешали: кухонька была такая маленькая, что Георгий легко доставал все, что ему было надо, даже не поднимаясь из-за стола.

И этот вечер ничем не отличался от всех других.

– Кашляешь, Егорушка, – сказала мать, когда Георгий поперхнулся чаем и закашлялся. – Простыл на своей голубятне.

– Ничего не простыл. – Он перестал кашлять, хлебнул еще чаю. – Тепло уже.

– Днем тепло, а ночью стыло. Сидишь над фотокарточками своими, а с полу-то дует, со всех щелей. Ты бы хоть кальсоны пододевал.

Так скучно это было, так ненужно! Ну зачем он должен объяснять, что в июне и ночами уже тепло, разве она сама этого не знает? Каждый раз, когда приходилось вести вот такие пустые разговоры, Георгию казалось, что его обволакивает какая-то густая, вязкая жидкость, из которой он никогда не выберется.

А разговоры эти приходилось вести или хотя бы слушать каждый день, как он ни старался этого избегать. Особенно когда фотографировал на свадьбах. Его всегда это удивляло:

сходятся какие-то разные, еще недавно друг друга вообще не знавшие люди, совсем разные семьи, а разговоры у них такие, как будто они всю жизнь прожили в одной коммуналке и поговорить им просто не о чем, потому что все уже давным-давно переговорено. Даже цены на мясо обсуждают, пока жених с невестой послушно целуются под крики «горько!». А уж о погоде – это обязательно.

– Да не простыл я, мам, – повторил он. – Какие еще кальсоны? У меня их и нету.

– Отцовские одень, – тут же предложила мать. – У него хорошие были, с начесом, я для тебя сберегла. Достать?

– Не надо, – вздохнул Георгий.

– И чего ты дурью маешься, Егор? – Мать придвинула к нему поближе блины, хотя тарелка с ними и так уже стояла почти у него под локтем. – Можно и в ванной карточки печатать. Разве я тебе мешаю? Далась тебе та голубятня, еще деньги платишь за нее... И музыку слушай себе хоть всю ночь, если надо. Я под музыку лучше сплю.

– Мне там удобнее, – пожал он плечами. – Мам, ну сколько можно об одном и том же?

Мать махнула рукой. Конечно, она думала, что сын пропадает в Богудонье только потому, что водит на ночь девок и стесняется матери. А почему же еще? Над книжками да над фотографиями ночами сидеть – это и дома можно.

Георгий не особенно старался ее разубеждать. Ну, и девки тоже, не без этого. Не сюда же их водить, в двухкомнатную хрущевку с картонными стенами. Но и не только из-за девок снял он, вернувшись из армии, комнату в Богудонье. Вернее, не комнату, а в самом деле голубятню, потому что денег не хватило не то что на комнату, даже на сарай.

Больше всего – из-за одиночества. Конечно, мать не мешала ему, но только в том смысле, в каком не мешала с детства, – не вмешивалась в его жизнь, и за это он был ей благодарен, хотя, может быть, она не делала этого только потому, что просто не умела вмешаться в жизнь своего сына.

Но одиночество – это ведь не просто уверенность в том, что никто не откроет дверь в темную ванную, где ты печатаешь фотографии. Георгий очень хорошо понимал то чувство, о котором говорилось в «Пире во время чумы»: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Только ему не нужны были для появления этого чувства ни бой, ни бездна – ему хватало одиночества. Сразу оживали перед глазами, как на экране, какие-то ясные картины, освещались особенным, небывалым светом, он видел этот свет, которого никогда не видел в жизни, и одновременно думал, с какой экспозицией такой свет может получиться на пленке и от какого источника он должен исходить, но все простые, внятные расчеты все-таки не мешали ему видеть этот прекрасный, живой свет... Или не свет, а человеческие лица, в которых вдруг проступала такая значительность и серьезность, какой никогда он не видел в обычных людях, разговаривающих о кальсонах и погоде.

Что-то звенело у него в груди, рвалось наружу, когда все это происходило с ним. Но это происходило только в одиночестве – в тишине гарнизонной библиотеки, или в скрипучей, ходящей ходуном голубятне, нависшей над кронами яблонь в богудонском саду, или на берегу моря, под мощный шум осенних волн...

А бой и бездна – что ж, этого он не знал, не ждал и не боялся.

– Помойся да спать ложись, Егорушка, я посуду приберу, – сказала мать. – Поздно уже, поночуй дома сегодня. Постирать тебе что?

– Я в ванной оставлю, – кивнул Георгий.

– Письмо тебе пришло, – сказала мать, убирая со стола его тарелку. – Вчера еще. Я там в зале положила.

– Какое письмо? – вздрогнул Георгий.

– С Москвы вроде, печать-то не видно почти. Очки разбила, пойду завтра к врачу, пускай новые выпишет, те-то все равно не подходили уже, старая я стала, вижу все хуже, вчера строчку криво прострочила...

Не слушая больше мать, Георгий бросился в комнату.

Письмо лежало посередине стола на вязаной салфетке. Он увидел его, кажется, даже раньше, чем зажег свет. Руки дрожали, и он никак не мог вскрыть конверт.

«Если бы не прошел, то ведь не сообщали бы? – стучало в висках. – Они же не сообщают, если не прошел, даже фотографии обратно не высылают...»

Он вытряхнул из конверта листок, чуть не порвал его, разворачивая, и прочитал, что может приехать для дальнейшего прохождения творческого конкурса.

Георгий сел, начал перебирать бахрому скатерти, заплетать ее в косички, как в детстве.

«Еще вчера пришло, а я не знал! – мелькнуло у него в голове. – И весь вечер не знал, и про какие-то кальсоны...»

Он растерялся, он не знал, что делать с собой, со своими руками, ногами, со всем своим большим телом, напряженным как струна.

И вдруг что-то забурлило у него в груди, завихрилось, и простая, ясная мысль пришла в голову – та самая, которая должна была прийти первой: да ведь это значит, что уже что-то получилось! Он уже может ехать в Москву, потому что какие-то очень важные и понимающие люди сочли, что он этого достоин!

Георгий встал, сунул конверт в нагрудный карман рубашки, прошелся по комнате. Сегодня он действительно собирался ночевать дома: хотел помыться по-человечески, а то все тело уже чесалось от морской воды. Хозяева голубятни сдавали комнаты отдыхающим, те активно пользовались душем, устроенным в саду, поэтому для Георгия пресной воды не хватало.

Но теперь ему было не до ванны. Письмо жгло тело сквозь рубашку, в груди тоже словно огонек горел и тоже пробегал по всему телу. И, чтобы хоть как-то приглушить этот счастливый, но почему-то тревожный пожар, Георгий выскочил из дому.

Он думал, что на улице станет легче, к тому же ночь сегодня и правда была прохладная. Ветер дул с залива, и чем ближе Георгий подходил к Богудонью, тем сильнее становился ветер, потому что все меньше оставалось у него на пути преград: этот старый район с частными домами и садами стоял у самого берега.

Улицы в Богудонье были покатые и сбегали вниз, к морю. Зимой на них раскатывали ледяные дорожки и можно было скользить чуть ли не до самого берега. Георгий и сейчас шел по ночным улицам так стремительно, словно летел по гладкому льду, но легче ему не становилось. Лицо горело, все тело горело и вздрагивало, как будто через него пропускali электрический ток. Облака тревожно летели по темному небу, словно догоняли и обгоняли высокого парня, куда-то идущего по ночной улице и почему-то размахивающего руками.

Он дошел до дома Трищенко, у которых снимал голубятню, просунул руку в щель забора, открыл калитку. Яблони качались от ветра и скрипели, голубятня в глубине сада тоже скрипела; ни одно окно не светилось в хозяйском доме. Георгий прошел по тропинке в угол сада, поднялся по лесенке, нашарил рукой висячий замок, на который запиралась голубятня, вставил в скважину ключ – и тут понял, что замок просто болтается на дужке и дверь приоткрыта. Конечно, его шаги по лесенке были хорошо слышны. В голубятне тоже послышались чьи-то торопливые шаги, испуганно закрипели половицы.

Георгий распахнул дверь и успел заметить, как погас в комнате фонарик. Потолок в голубятне был такой низкий, что ему приходилось пригибать голову.

– Кто тут? – громко спросил он, нащупывая выключатель. – Сейчас кому-то пошарю!

Вспыхнула под потолком тусклая лампочка без абажура, и Георгий увидел Маринку, шестнадцатилетнюю хозяйскую дочку.

– Ты что тут делаешь? – удивился он.

Маринка, наверное, не ожидала его появления. Она вертела в руках выключенный фонарик и смотрела на Георгия, приоткрыв рот и не зная, что сказать. Впрочем, особого смущения на ее лице не читалось – так, легкий испуг.

– Ну, чего тебе? – повторил Георгий. – Заблудилась?

– Фотки свои пришла посмотреть, – заявила наглая Маринка. – Помнишь, фотки мои обещал показать, когда сделаешь?

– Без меня, что ли, смотреть собиралась? – усмехнулся он. – И обязательно ночью? А ключ откуда, у мамки стащила?

– Ну, – улыбнулась Маринка. – Я сначала просто так пришла, а тебя нету, я и сбегала за ключом. И ничего я его не стащила, у нас все ключи на гвоздике висят.

– И часто ты сюда ходишь фотки смотреть? – прищурился Георгий.

– Не-а! – еще шире улыбнулась Маринка. – Первый раз. Да ты не думай, я ничего бы не взяла. Я тебя хотела подождать.

– А я, между прочим, сегодня вообще ночевать тут не собирался. Интересно, сколько ты меня собиралась ждать?

– Мало ли что не собирался! Пришел же.

Георгий все еще стоял у распахнутой двери, ожидая, что Маринка уберется сама. Но настырная девчонка вовсе не собиралась уходить. Наоборот, она уселась на застеленный одеялом топчан и закинула ногу за ногу. Ее короткая кожаная юбка тут же потянулась вверх, открывая загорелые Маринкины ляжки, крупноватые для ее юных лет, но по-девичьи крепкие – такие, которые называют ядреными.

Что бы она ни плела про фотки, понятно было, для чего она пришла. Маринка так часто лезла к Георгию с разговорами, сталкиваясь с ним в саду, и при этом так недвусмысленно стреляла глазками и приоткрывала свои большие яркие губы, что только круглый идиот не догадался бы, чего она хочет. Вся она была налитая как яблочко – ткни пальцем, и сок брызнет. Но при этом Маринка была такая беспросветная дура, и это было так заметно, что просоответствовать ее недвусмысленному призыву Георгий мог бы разве что после года одиночного заключения. К тому же не хотелось связываться: все-таки школьница, хоть и явно давно не девочка. Да и мамаша ее все время рядом, зачем лишние хлопоты?

Он ограничился тем, что однажды, в ответ на Маринкины приставания, сфотографировал ее. Получилось на удивление хорошо: Маринкина девичья дурость выглядела так выразительно и трогательно, что Георгий даже послал ее фотографию вместе с другими своими снимками на конкурс во ВГИК. И ведь, получается, не зря!

Правда, о самой модели он тогда сразу же забыл. А она, пожалуйста, явилась, видите ли, фотки посмотреть!

Георгий смотрел на хитро улыбающуюся Маринку – на ее распушенные блондинистые волосы, на ярко подведенные – это ночью-то! – глаза и пухлые короткие пальчики, теребящие золотую цепочку, которая призывно исчезала в глубоком вырезе бирюзовой кофточки. Так некстати все это было сейчас, когда весь он дрожал от восторга, смешанного с непонятной тревогой, когда не знал, что делать с собой!..

И вдруг, как только Георгий подумал, как невовремя явилась сюда эта пышнотелая девчонка, он почувствовал, что хочет ее. Это не было то желание, которое он хорошо в себе знал, – сердечный трепет, стремительно бегущий по всему телу вниз, легкий туман в голове, мгновенно пересыхающие губы, и все, что за этим следовало: шутки, переглядки, быстрые и горячие поцелуи, объятия – и дальше все понятно и приятно обоим... Сейчас, глядя на Маринку,

он чувствовал только одно: если не возьмет ее сию секунду, то его просто разорвет изнутри. И какие тут переглядки, какие шутки, когда темные пятна мечутся у него перед глазами!

Даже Маринка догадалась, что с ним что-то произошло. Она перестала хихикать и удивленно посмотрела на Георгия.

«Испугалась, заорет еще», – стремительно мелькнуло у него в голове.

Но эта мысль уже не могла его остановить. Он в два шага оказался рядом с топчаном и почти упал на Маринку, всю ее накрыл своим телом; беловолосая голова ткнулась ему в солнечное сплетение.

Впрочем, Маринка ничуть не испугалась.

– Э-э, свет, свет-то выключи! – шепотом напомнила она.

Дальнейшего Георгий почти не помнил. Как он сумел даже на секунду оторваться от нее, от горячего, ему в живот, дыхания, как выключил свет?.. За эту секунду Маринка каким-то чудом успела снять трусы – или она сделала это заранее? – сбросить босоножки и улечься на топчан.

Он даже раздеваться не стал – только расстегнул джинсы, немного стянул их, навалился на Маринку, обеими руками схватился за ее голые ноги, сделал всего несколько стремительных движений, словно вбиваясь между этих с готовностью расставленных ног, – и почти сразу же задержался, зашелся стоном.

Маринка поерзала под ним и затихла. Все произошло так стремительно, что она, наверное, не понимала, надо ли ожидать продолжения.

– Кончил, что ли? – удивленно спросила она. – Ну-у, а я думала... Чего тогда к тебе девки ходят, раз так?

Георгий сел на топчане, зачем-то включил красный фонарь, стоящий на сбитом из досок столе. При красном свете он печатал фотографии, свет этот всегда предшествовал для него тому, к чему он не мог привыкнуть – появлению образа из ничего, из белого пятна бумаги, – и он любил этот тревожный свет. Но сейчас ничего этого не было.

Руки у Георгия дрожали, когда он застегивал джинсы, но той странной, мучительной и счастливой дрожи во всем теле, которую он чувствовал минуту назад, – больше не было.

– Прости, – глухо сказал он. – Сам не знаю, как получилось.

– Да ладно тебе! – Маринкино лицо снова расплылось в улыбке. – С кем не бывает!

Конечно, она не поняла, за что он извиняется – решила, что за слишком быстрое завершение процесса. Так смешно было слышать это от маленькой в общем-то девчонки, что Георгий не сдержал улыбку.

– Ты-то откуда знаешь, как бывает? – спросил он.

– Подумаешь! – хмыкнула она. – У меня, если хочешь знать, даже взрослые мужики были. То же самое, что пацаны. Всем одно и то же надо, только с разной скоростью. А правда, что Лидка Радунцева сюда приходила? – Маринкины глаза загорелись любопытством.

Глаза у нее были желтые, как у кошки, но Маринка совсем не понимала необычности этого цвета и, вместо того чтобы не портить эту необычность, плотно штукатурила веки ярко-голубыми тенями.

– Тебе какое дело? – поморщился он.

– Да никакого, интересно просто, – хихикнула она. – Лидка такую фифу из себя строит, прям куда там. Как же, в салоне красоты она работает, спонсор у ней! А сама парикмахерша простая, а спонсор – обыкновенный хачик, рыбу московским продает. Нет, ты скажи, точно она была? Я на позатой неделе видела...

– Слушай, чего ты лезешь? – Георгий наконец рассердился настолько, что забыл даже про стыд, захлестнувший его после того, как он так по-животному совокупился с блядовитой девчонкой. – Баиньки тебе пора, а то сейчас мамка придет, по заднице надает.

– Не придет, – ничуть не смутилась Маринка. – Мамка дрыхнет давно. А я сказала, что на дискотеку пойду.

– Вот и иди на дискотеку, чего сюда притащилась?

– А то ты не хотел! – Маринка наконец стала натягивать трусы; Георгий отвел глаза. – Рыжие – горячие, я же знаю.

– Все-то ты знаешь, – улыбнулся он.

Трудно было сердиться на нее – глупую, естественную как зверушка!

– И правда, пойду схожу на дискотеку, – решила Маринка. – Завтра воскресенье, выплусь. Хочешь, вместе пойдем?

– Не хочу, не хочу. – Георгий дожидаться не мог, когда она наконец оставит его в покое. – Быстрей давай собирайся!

– За фотками завтра приду, – сказала она, и в ее голосе послышались уверенные нотки женщины, которая собственным телом заработала хоть маленькое, но право распоряжаться мужчиной.

Когда за Маринкой наконец закрылась дверь, Георгий сел за стол, обхватил голову руками.

«Козел, ну, козел! – думал он, потирая переносицу и морщась. – Ничего получше не придумал, чем трахнуться, да еще так!»

Ему было противно и стыдно, но уже не перед Маринкой, которая ничего особенного в происшедшем не нашла, а перед собой. А еще больше ему было жалко – но не себя, а того звенящего восторга, от которого он так глупо и грубо избавился неизвестно зачем.

Надо было что-то делать со своим стыдом, со всем собой, невозможно было сидеть здесь как в клетке! И, забыв выключить лампу, Георгий выбрался на лесенку голубятни, спустился в сад и вышел за калитку.

Когда он возвращался с моря, все было уже по-другому. Даже в природе, а не только в его освеженном ночным купанием теле. Ветер утих, облака больше не затягивали небо – их пелена сначала надорвалась посередине небесного свода, потом рассеялась совсем, и крупные летние звезды замерцали низко, ярко, путаясь в перистых ветках акаций.

Георгий снова чувствовал в груди трепет, но уже и не мучительно-сжигающий, и не стыдливый, а обычный счастливый трепет, который и должен был чувствовать двадцатилетний парень накануне больших перемен в своей жизни.

«Лучше заранее не радоваться, – уговаривал он себя. – Не известно же еще ничего, точно же раз в десять больше народу вызвали, чем примут...»

Но сквозь все эти разумные доводы прорывалось совсем другое чувство – безоглядное, страстное, не оставляющее места ни в сердце, ни в голове для разумных в своей обыденности слов. Он выиграл этот первый спор с жизнью, он заслужил право – пусть призрачное, а может, уже и не призрачное! – жить так, как хочет сам, а не так, как живет его мать, и Маринка, и ее мать, и Зина, и ее отец-подполковник на ракетной точке, и все, кого он до сих пор встречал в жизни! И он наизнанку вывернется, чтобы выиграть и следующий спор, а потом еще следующий, и еще!

Рубашка стала влажной, пока лежала на песке у воды, да Георгий еще и надел ее, не вытираясь, когда вышел из моря. И теперь она липла к плечам, к груди – каждой своей сине-зеленой клеточкой к каждой живой клеточке его тела, словно стараясь охладить его пыл. Но нисколько не охлаждала!

Он дошел уже почти до самого трищенковского сада, когда от забора неожиданно отделилась длинная тень.

– Слышь, рыжий, не торопись, успеешь, – тихо и зловеще сказала тень.

От неожиданности Георгий и в самом деле остановился и всмотрелся в тень повнимательнее. Фонарь горел довольно далеко, и черты этого человека едва угадывались во мраке. Кажется, он где-то видел долговязого парня, который, сунув руки в карманы и картинно цыкая сквозь зуб, стоял перед ним у забора. Ну точно, видел пару раз в саду у Тришенок. Правда, Георгий не сильно приглядывался к хозяйским гостям и не узнал бы этого парня, если бы не фотографическая память, которая неизвестно зачем поглощала множество подробностей жизни, да еще незаметно связывала образы с чувствами, словно закрепляла их друг за другом. С этим парнем связывалось ощущение бычьей тупости.

– Ну? – спросил Георгий. – Стою. Дальше что?

– Чего Маринку лапал? – без лишних разговоров поинтересовался собеседник.

– С чего ты взял?

Георгий попытался изобразить голосом удивление. Елки, опять эта Маринка! Он уже и забыл о ней за тот час, который прошел после ее ухода.

– С чего, с чего! Что я, слепой? У нее вся жопа в синяках, прямо пальцы отпечатались!

– Ты отпечатки пальцев снимал, что ли? – усмехнулся Георгий. – И с моими идентифицировал?

– Ща как дам в лоб, поржешь у меня! – обозлился тот. – Ничего я не идентифицировал... Врезал пару раз – сама рассказала.

В его голосе послышались самодовольные нотки – конечно, оттого, что он так правильно, так по-хозяйски разобрался в сути дела.

И тут Георгий почувствовал, как его охватывает не просто злость, а настоящая ярость! Оттого, что он зачем-то должен быть участником всех этих дурацких событий, общаться с этими убогими людьми, вникать в их отношения и как-то на них реагировать. Никогда с ним такого не было, даже в армии, он спокойно воспринимал самых разных людей и легко к ним привыкал.

Парень был ниже его ростом, но, кажется, старше и, скорее всего, опытнее. Жилистый, крепкий, с бритой головой и характерно приплюснутыми борцовскими ушами. Георгий никаким спортом никогда не занимался. Плавал только – помногу, с удовольствием, наливая плечи силой, – но какой же мальчишка не плавал, живя в городе, который с трех сторон окружен морем? Драться он, конечно, умел, хотя и без всяких правильных приемов. Но тоже – какой мальчишка не дрался двор на двор, улица на улицу? В общем, никакой особой готовности к бою у него не было.

Но злость оказалась так велика, что Георгий просто не мог рассчитывать свои силы, сравнивать их с силами неожиданного соперника. Не мог и не хотел.

Он стремительно, как совсем недавно к Маринке, шагнул к этому жилистому парню и, не готовясь и не целясь, выбросил вперед кулак. От такого неожиданного, такого прямого и нерасчетливого удара тот дернулся, откинул голову назад и отлетел к забору, глухо стукнувшись спиной о доски.

– Э, ты чего?! – заорал парень. – Я ж спросил только! Поговорили бы, перетерли...

Наверное, он тоже почувствовал нерассуждающий гнев своего «собеседника». Во всяком случае, снисходительной блатной угрозы в его голосе больше не было. Или просто не нужны ему были лишние проблемы из-за какой-то Маринки?

Георгий дышал так часто, словно пробежал стометровку, а не сделал всего несколько шагов.

– Вот и поговорили, – выдохнул он. – Все ясно?

И, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел к трищенковскому дому.

«На хрен вас всех! – с неутраченной яростью билось в голове. – Живите сами как хотите, от меня отстаньте только! Скорей бы, скорей...»

Ярость была уже третьим чувством стремительной сегодняшней ночи – после смятения, после стыда. Но и она не была сильнее той неостановимой, страстной тяги в будущее, которая так властно подхватила его на свое крыло.

Глава 3

Если бы он мог себе представить, сколько таких вот провинциальных покорителей приехало в этот город!

То есть Георгий знал, конечно, что не он первый приехал в Москву и что каждый из приезжающих был уверен в своих силах, впервые ступая в разные годы на эту землю, брусчатку или асфальт. Но того, как много их было, этих самозабвенно-счастливых покорителей, – этого он не то что не знал, а вот именно не представлял...

И представил только теперь, оказавшись в ошалевшем от июльской жары городе. Георгию вдруг показалось, что половина из тех людей, которые толпой летели мимо него и словно бы даже сквозь него по улицам, – что по меньшей мере половина из них тоже приехали сюда недавно и хотят того же, чего хочет он: стать здесь не просто своими – стать здесь лучшими. Теми, без кого этот город не выживет, не захочет жить.

И это открытие вызвало у него такую растерянность, какой он совсем от себя не ожидал. Легко было лететь в будущее, сидя в тесной голубятне, раскачивающейся от морского ветра над деревьями старого сада! И очень трудно было разглядеть какое-то будущее в глазах председательницы приемной комиссии, которая смотрела на Георгия, словно размышляя, к чему его, такого никчемного, можно все-таки приспособить.

– Какого, говорите, года рождения? – с усмешкой переспросила она. – Ах, уже два-адцать исполнилось? Что и говорить, самое время на операторский! Молодой человек, вы что-нибудь, кроме фотоаппарата «Смена», в руках держали?

– Держал. – Впервые в жизни Георгий почувствовал, что у него становятся горячими щеки. – Кинокамеру «Супер-8».

– Супер – что? – удивленно переспросила дама. Большие, серебряные с чернью серьги-полумесяцы качнулись у нее в ушах, и множество мелких висюлек на них зашелестели – кажется, тоже от удивления. – Это что за агрегат такой?

– Просто кинокамера, – безуспешно пытаясь выглядеть невозмутимым, пожал плечами Георгий. – Я в армии ею снимал.

– Ах, в а-рмии! – насмешливо протянула она. – На ракетной точке?

Ничего себе! Георгий чуть рот не открыл от такой пронизательности.

– Д-да... – пробормотал он. – На ракетной точке. А как вы догадались?

– Подумаешь, бином Ньютона! – усмехнулась дама. – Где еще могли сохраниться подобные раритеты? Что ж, дело ваше, дерзайте. Надеетесь удачно рискнуть и выпить шампанское? – Она разглядывала его в упор, но при этом в ее больших черных глазах не было не то что добродетельности – даже капли интереса. – Жить где будете во время экзаменов?

– В общежитии, – сказал он. – Если вы предоставляете.

Где он будет жить, если общежитие не предоставляют, Георгий понятия не имел.

К счастью, жилье предоставлялось, и уже через час он поставил свой брезентовый рюкзак на пол возле вахтерской будки вгиковской общаги. Но и в эту минуту, и через полчаса, когда уже получив ключ и постельное белье, шел по длинному коридору четырнадцатого этажа к своей комнате, растерянность не покидала его.

Дверь оказалась открыта. Вернее, она была просто снята с петель и аккуратно прислонена к стене. Впрочем, это Георгия не слишком удивило. Он постучал по прислоненной к стене двери.

– Занято, но заходи! – раздалось из глубины помещения.

Георгий вошел в полутемный предбанник и остановился еще перед одной дверью, из-за которой и доносился голос.

– Заходи, заходи! – снова слышалось оттуда.

Георгий толкнул дверь и оказался в небольшой, но показавшейся ему просторной комнате.

Уже через секунду он понял, почему эта комната с клочкастыми обоями выглядела просторной: мебели в ней не было совсем. Вернее, на полу лежало что-то, похожее на пружинный матрас, но трудно было сказать, считалось это мебелью или нет.

На матрасе, подложив под голову большую, туго набитую спортивную сумку, лежал парень в ярко-красной майке. Он курил, старательно и не очень умело выпуская дым колечками, и внимательно следил, как эти кривоватые колечки поднимаются к потолку. Лицо у него при этом было такое, словно он наблюдал что-то абстрактно-глобальное – например, смену исторических эпох.

– Располагайся, – не отрываясь от созерцания колечек, предложил парень. – Федя.

Георгий сообразил, что тот представился, и сказал в ответ:

– Георгий.

– Что, так и называть? – Федя наконец оторвался от колечек и взглянул на него. – Может, еще и по отчеству?

– Как хочешь, так и называй, – пожал плечами Георгий, заодно оглядывая комнату и соображая, как ему располагаться на голом полу. – Возможны варианты, я на все откликаюсь.

– Как дворняга! – хмыкнул Федя. – Хоть Бобиком зови, хоть Кабздохом, только пожрать давай. Да ты не обижайся, я не со зла.

– На обиженных воду возят, – усмехнулся Георгий. – Слушай, а зачем постель выдают, раз кроватей нет?

– Ключей от блока тоже нет, только от комнаты, – сказал Федя. – Видишь, дверь снимать пришлось. Ты на какой поступаешь?

– На операторский.

– А я-то на сценарный!

Федино лицо вдруг переменялось, словно по взмаху волшебной палочки. Выражение настороженного безразличия мгновенно исчезло, и лицо сделалось простым и открытым. И сразу стало видно, какое оно у него круглое – как будто циркулем обведенное. И глаза у него были круглые, и даже уши.

– Так мы с тобой, получается, не конкуренты? – Федя встал со своего матраса и оглядел Георгия уже совсем другим взглядом своих круглых черных глаз – живым, полным любопытства взглядом.

– Получается, нет, – улыбнулся Георгий. – А почему ты решил, что я на сценарный? На лбу же у меня не написано.

– Молодой ты потому что, – объяснил Федя. – Молодые в основном на сценарный идут или на актерский. На режиссерский и операторский лет в тридцать поступают.

– Ну да? – удивился Георгий. – То-то она...

– Она – это кто? – тут же поинтересовался Федя.

– Да никто, – махнул рукой Георгий. – Ладно, пойду кровать искать. Или тут всюду так?

– Пошли вместе, – кивнул Федя. – Я тоже только что приехал, еще не огляделся. Вид из окна творческий, это главное.

Георгий улыбнулся про себя. Федя валялся на матрасе с таким видом, будто провел в этой комнате по меньшей мере месяц и являлся ее законным хозяином. А вид из распахнутого окна был самый обыкновенный: зеленел какой-то парк – кажется, больничный, – торчала коробка футбольного поля, и тянулся над блестящей от солнца рекой акведук. Но во всем этом был размах – свободный, широкий, московский! Георгий сразу почувствовал его и понял, о чем говорит сосед. К тому же он никогда в жизни не смотрел в окно с такой высоты – с четырнадцатого этажа.

– Я тебя Жориком буду звать, – заявил Федя. – Или Рыжим, все-таки получше звучит. Ну и имечко у тебя!

– Я привык, – снова улыбнулся Георгий.

На творческий тур надо было послать тридцать снимков, которые Георгий отобрал с трудом. Правда, квартира в Таганроге была завалена папками с фотографиями, но, когда он начал рассматривать их, чтобы выбрать лучшие, все они показались ему такими убогими, такими дилетантскими!

С пейзажами было более-менее понятно. Георгий решил послать только виды моря, причем снятые с одной точки – со старого баркаса, лежащего на берегу: в шторм, в штиль, зимой, осенью, летом... Ему казалось, что главное – не красивый вид сам по себе, а вот именно те перемены, которые происходят с одним и тем же пейзажем и которых человек не замечает, пока не увидит их все вместе, в одной линии. И ему нравилось выстраивать эту линию – медленную, ясную, живую.

Ему-то нравилось, но, может, во ВГИКе решат, что это слишком однообразно, что он прислал одинаковые снимки просто потому, что не умеет делать разные?

Портреты тоже могли посчитать однообразными, потому что лучшими Георгию казались фотографии женщин, и только их он отправил на конкурс.

«Надо же, наверное, стариков послать? – размышлял он, перебирая стопку фотографий. – Ну, морщины там всякие, мудрость жизни... Или не надо?»

Из «стариков» ему нравилась только мать, но морщин у нее как раз таки почти не было – ни в жизни, ни на сделанной им фотографии, – хотя ей недавно исполнилось пятьдесят. В молодости мать, наверное, была даже красивая. Это на старых снимках было заметно, где она была сфотографирована с отцом сразу после свадьбы – веселая, с наивным взглядом черных глаз из-под рыжей челки. Ее взгляд – чуть исподлобья, как у маленькой девочки, – это было единственное, что совсем не изменилось за пятнадцать лет, прошедших после смерти отца, и Георгий радовался, что через много лет ему удалось поймать объективом этот молодой взгляд.

Он вообще всем своим фотографиям радовался как детям, хотя, конечно, понятия не имел о том, как радуются детям. Но женские фотографии – это было вообще особенное. Георгий смотрел на них и понимал, что вот это хорошо, что это лучшее, что он мог сделать, – и сделал.

Зина смотрела на него своим ясным взглядом, и в ее лице было то сочетание девичьей трепетности с глубоко скрытым житейским расчетом, которое было в ней и в жизни. На фотографии было видно, какой она будет лет через десять, эта маленькая девушка с нежным, обрисованным световой линией лицом. Но в то же время было неважно, какой она будет через десять лет, а важен был только этот светящийся абрис.

Маринка улыбалась своими большими, ярко накрашенными губами, словно говорила: «Знаешь, сколько у меня мужиков было?» Но при этом вся она была такая молоденькая, такая свежая, что даже дешевая косметика не портила ее лица, и казалось, что от фотографии пахнет крепкими летними яблоками.

Парикмахерша Лида старалась смотреть загадочно, как Незнакомка на картине Крамского, но видно было, что она вот-вот не выдержит и расхохочется, хотя и привыкла притворяться.

Все, все они были разными, и всех их Георгий помнил не глазами только, а сердцем и телом, хотя ни одну из них не любил, а... А что – он не знал, но чувствовал, что это было что-то очень хорошее и для них тоже, не только для него.

Когда он вошел в аудиторию, где проходил первый экзамен, то сразу увидел красную картонную папку, в которой прислал свои работы на конкурс. Папка лежала на столе перед

грузным мужчиной, который вынимал из нее фотографии и разглядывал их по одной. Георгий присмотрелся – конечно, это и был Роман Муштаков, знаменитый кинооператор, уже двадцать лет преподававший во ВГИКе.

Он заметил, что Муштаков тоже взглянул на него с интересом. Это было неожиданно – по сравнению, например, с равнодушием председательницы приемной комиссии, которая сегодня была уже в других, но тоже огромных сергах.

Георгий так толком и не понял, что все-таки придется сдавать. Знал только, что будет вопрос по химии – по тем разделам, которые связаны с химическими процессами в фотоделе и в кино. Все остальное было неясно. Говорили, что спросить могут обо всем и что будут сличать присланные на конкурс фотографии с теми, которые абитуриенты сделают уже во время экзамена, в городе и в павильоне ВГИКа.

Фотографировали они вчера, на это ушел весь день, но это было по крайней мере что-то понятное. А вот что сегодня?..

Вопрос по химии оказался нетрудным. Георгий вообще любил химию, даже слишком, как говорила школьная химичка, когда он был в девятом классе.

– Учась в школе имени Чехова, в школе с вековыми традициями, – восклицала она, – можно заинтересоваться чем-нибудь созидательным, а не смесью красного фосфора с бертолетовой солью!

Впрочем, уже через год химичка успокоилась, потому что Турчин перестал устраивать взрывы в химкабинете и увлекся фотографией, а это увлечение все-таки можно было считать полезным, даже с учетом того, что он делал издевательские, по ее мнению, снимки учителей во время уроков.

– Ладно! – сказал вдруг Муштаков, когда Георгий ответил на химический вопрос билета и написал штук десять формул разных реакций, как потребовала сурового вида дама-экзаменаторша. – Реактивы знаешь, проявлять-печатать умеешь. А зачем? Ну, для чего, для чего? – повторил он, заметив недоумение в глазах Георгия. – Чтобы – что?

– Чтобы... Просто хочется, – произнес Георгий, проклиная себя за этот идиотский, детский ответ.

– Что ж, хорошее объяснение, – вдруг улыбнулся Муштаков. – Честное, во всяком случае. Но ведь это объяснение для себя, правильно? Ну а для меня, для других вьедливых личностей? Не бойся приблизительности, – добавил он. – Любые объяснения искусства приблизительны, но ничего не поделаешь, все-таки иногда приходится их давать. Во время экзамена, например. Давай-давай, говори красивые слова, – ободрил он.

– Ну, мне, наверное, хочется показать то, что в человеке есть, но не всегда видно, – стараясь говорить уверенно, начал Георгий. – То, что в нем главное. Оно очень редко выходит наружу, поэтому его обычно никто не успевает заметить. Да никто и не хочет замечать, потому что заботы всякие, быт... В общем, я когда снимаю, то думаю... То есть не думаю, а чувствую: если я это главное смогу остановить, то оно останется навсегда, даже когда и человек умрет, и фотографии все сгорят. Пока Георгий до конца выговорил этот непривычно длинный для него монолог, он увлекся, и, как всегда, когда он чем-нибудь увлекался, это стало слышно в его голосе. Он даже руками взмахнул, чуть не задев очки преподавателя, сидевшего близко от него за столом. Преподаватель улыбнулся и отодвинулся, но Георгий этого не заметил.

– Хорошо, это ты про портреты говоришь, – кивнул Муштаков; его широкое, с обвислыми щеками и темными мешками под глазами лицо как будто разгладилось немного, стало моложе. – А пейзаж, а натюрморт, репортаж? А движение? Там-то в чем смысл? Камерой снимал когда-нибудь?

– Снимал, а как же! – насмешливо произнесла председательница приемной комиссии. – Камерой «Хали-гали», так, кажется?

Но Георгию было уже наплевать на эту даму с ее равнодушием, язвительностью и шелестящими серьгами. Он чувствовал, что сейчас, вот в эту минуту, решается его судьба. Обычно в таких – да что там в таких, даже в менее напряженных ситуациях! – его брала оторопь. Но сейчас все было по-другому. Он просто знал: надо вытащить из себя, из своей души все, что клубится в ней неясными образами, и высказать это ясными словами.

– Вот именно – движение! – горячо произнес он. – Про него-то я и понял, когда на камеру начал снимать. Сначала как будто фотографировать стал, потом смотрю: не то, не получается ничего! Выстраиваю картинки, а они должны двигаться, меняться, и не сами собой, а я должен их менять. Оживлять, понимаете?

– Понимаю, – кивнул Муштаков. – Ну и как, получилось?

– Получилось. То есть это мне так кажется, конечно, – спохватился Георгий. – В общем, я хотел, чтобы все на пленке передралось и помирилось.

– И что, достиг гармонии в результате? – снова спросил Муштаков.

– Да какая гармония! Это у свиньи гармония, а где люди, там гармонии быть не может. И не должно, – уточнил Георгий.

Муштаков засмеялся.

– Интересный философский вывод! – покрутил он головой. – А что камерой снимал-то?

– Ну, что в армии можно снимать? Солдат, прапора, тайгу... Девушку одну.

– Да, девушек ты много наснимал, это я заметил, – усмехнулся Муштаков. – Со страстью, что и говорить. А это кто, мать? – Он вынул из папки фотографию.

– Ага, – кивнул Георгий. – А как вы поняли?

– Похож ты на нее. Рыжий тоже. Может, в ее годы и ты спокойный будешь, усталый. А может, и не будешь! – добавил он. – Из художников кого любишь, Рембрандта?

– Да-а... – удивленно протянул Георгий. – А как вы догадались?

– Дурак бы не догадался. Со светом любишь играть. А из фотографов Картье-Брессона, так?

– Так, – кивнул Георгий. – Только я ему не подражал... То есть не хотел подражать.

– Не бойтесь совершенства, вам его не достичь, – усмехнулся Муштаков. – Не помните, кто это сказал, Мария Самойловна? – обратился он к даме в серьгах.

– Понятия не имею, – пожала она плечами. – Надо Марфу спросить, она все знает.

– Контражур что такое? – деловито спросил Муштаков – уже у Георгия.

– Контражур, или контровый свет, идет от прожектора, установленного напротив камеры, он высвечивает контуры и отделяет фигуру от фона, накладывает блики и светящийся ореол по контуру, создает экспрессивное настроение в кадре, – отчеканил тот.

Зря, что ли, он прочитал все книги по фотоделу, которые зачем-то собрала в гарнизонной библиотеке таежная дворянка Марина Францевна! Да и потом, уже в Таганроге, часами не вылезал из читального зала, когда понял, что хочет поступать на операторский.

– Знаешь, знаешь, – махнул рукой Муштаков. – Ладно, иди. Увлекательный ты парень!

– Пойдите, Роман Иннокентьевич, что значит «иди»? – встрепелась Мария Самойловна, и серьги у ее щек возмущенно зашелестели. – Я, например, не составила себе никакого представления об этом абитуриенте. Кроме наивной горячности и тщательно скрываемых амбиций, я пока ничего не увидела. Скажите, фамилия Эйзенштейн вам что-нибудь говорит? – обратилась она к Георгию.

Фамилия Эйзенштейн ему много чего говорила, и, чувствуя, что голос сейчас от радости сорвется на фальцет, он принялся вываливать на эту презрительную даму все, что знал об Эйзенштейне и обо всех его операторах. Даже презрительность ее, даже необъяснимая неприязнь к нему, которой Мария Самойловна не скрывала, – даже это больше не смущало Георгия и не уязвляло. Он чувствовал, что самое главное сегодня уже произошло, уже решилось, и ему

хотелось подпрыгнуть выше стола, или показать язык, или сделать еще что-нибудь глупое и бесшабашное!

Он так ясно почувствовал это еще в аудитории, что потом даже не удивился пятерке, полученной за этот странный экзамен. Хотя все остальные, кто поступал на операторский – все они действительно были гораздо старше, и их было очень много, – смотрели на него с настороженным недоумением.

Георгия больше удивляло другое: как все-таки Муштаков догадался, что он любит Картье-Брессона?

«Ну, я же этого и не скрывал, – думал он, бредя по проспекту Мира, то и дело сталкиваясь с прохожими. – Мне же этого и хотелось – чтобы в каждой фотографии была какая-то мысль».

Это казалось ему главным в фотографиях обожаемого Картье-Брессона, этим они отличались от любых картин, вообще от живописи: простой мыслью, почти афоризмом, который ясно читался в каждом предмете и портрете, в каждой уличной сценке. Георгий догадывался, что это и заставляет вглядываться в них, – обманчивая уверенность в том, что вот-вот ухватишь знакомую мысль за ускользающий хвостик, вот-вот выразишь ее простыми словами. Он сам обманывался так, глядя на фотографии Картье-Брессона, и хотел, чтобы так же обманывались другие, глядя уже на его собственные фотографии.

Но как Муштаков догадался о том, что он хотел добиться именно этого? Значит, удалось?..

Вчера, полдня слоняясь по ВДНХ с выданным на время экзамена фотоаппаратом, Георгий долго не мог понять, что же все-таки хочет снимать. Вернее, желание-то было ему ясно: он хотел показать Москву – такую, какой видел ее сам. Непонятную, неизвестно почему приманичивую, огромную, равнодушную, живую, дышащую, как покрытая тонкой корочкой вулканическая лава... Но как это сделать?

И потом, когда уже печатал фотографии во вгиковской лаборатории, он не был уверен в том, что сделал все правильно. Да и технически нелегко оказалось это сделать: все-таки выдали абитуриентам не какой-нибудь профессиональный «Никон», а простенький фотоаппарат, с которым сильно не разгуляешься.

Георгий смотрел, как в красном свете фонаря проступают на фотобумаге снятые им кадры.

До предела увеличенная, четкая и оттого особенно неприятная, цепкая лапка голубя, сидящего на каких-то перилах, и сквозь нее, за ней – размытая толпа, похожая на беспечно и счастливо кружащуюся карусель.

Веревочка шарика, привязанная к тонкому запястью детской руки, а рядом – множество взрослых рук, уверенных, грубых или холеных, украшенных кольцами и дорогими часами.

Третьим снимком этой серии он гордился больше всего. Троллейбусная штанга, оторвавшаяся от проводов, была сфотографирована снизу. Штанга торчала в небе беспомощным символом одиночества, а вокруг нее уходили ввысь тяжелые сталинские дома проспекта Мира. Георгию так хотелось сделать этот кадр, что он даже заплатил водителю троллейбуса, чтобы тот на пять минут снял штангу, несмотря на возмущенные крики пассажиров.

Все это могло показаться случайными, произвольно выбранными деталями. Но Георгий смутно чувствовал, что ему интересно именно это – отдельные атомы города, а не орбиты, по которым они носятся в пространстве.

«С первого взгляда», – размашисто написал он на обороте этих трех снимков.

А что «с первого взгляда» – любовь, страх, восхищение, тревога? Москва...

И, получается, Муштаков это понял?

Глава 4

Георгий родился пятнадцатого сентября – он был Весы по Зодиаку, легкий знак Воздуха. Это Марфа ему сообщила, когда он пригласил ее на день рождения.

– О, да ты воздушный знак! – усмехнулась она. – Что ж, для творческой личности очень даже неплохо. Спасибо, я приду. В общагу?

– Куда же еще? – пожал плечами Георгий. – Все ведь там празднуют.

Конечно, дело было только в полном отсутствии денег на какое-нибудь другое празднование, кроме незатейливой пьянки в общежитии. Даже на то, чтобы поставить всем желающим по бокалу коктейля в самом простеньком баре, – даже на это денег у него уже не осталось. Да что там – коктейль! Даже по кружке пива в баре на всех не хватило бы.

Впрочем, комната выглядела теперь неплохо – во всяком случае, чисто. Георгий даже не узнал ее, когда в конце августа приехал в Москву, уже на учебу.

Поселяться в общежитие заново ему не пришлось.

– А тебе уже место заняли, – сообщил комендант, когда Георгий явился к нему за ключами. – Ну, тот парень, с которым вы летом жили. Не знаешь, что это за фамилия у него, хохляцкая, что ли?

Происхождение экзотической Федькиной фамилии было Георгию неизвестно. Но он обрадовался, что жить они будут вместе.

Комната тоже была та самая, на четырнадцатом этаже, с видом на Яузу. Но когда Георгий распахнул дверь, комнаты он не узнал.

– Привет, Рыжий, – поздоровался Федька, спрыгивая с письменного стола и вытирая руки тряпкой. – Зацени ремонтник!

– Круто! – искренне восхитился Георгий, оглядывая еще влажные обои в цветочек, свежеевыкрашенные подоконники и вымытое до блеска окно. – Когда это ты успел, Федот?

– Вчера вечером да сегодня с утра, – ответил Федька. – Долго ли умеючи!

– Все-то ты умеешь, – улыбнулся Георгий. – И где только научился?

– Не захочешь в говне жить – и ты научишься, – объяснил Федька. – Хохлы все хозяйственные, не знал, что ли? Мой садочек, мое порося, моя хата...

– С краю, – подсказал Георгий.

– Это само собой, – кивнул Федька. – Тут сосед по блоку подходящий. Третьекурсник с актерского, у бабы где-то в городе живет, раз в месяц появляется. Ну, я подумал: лучше же обои поклеить и мебели сюда натаскать, чем на готовенькое поселиться, зато толпой в туалет ходить? Да тут чистых комнат и нету.

– Обои сам купил? – спросил Георгий, удивляясь Федькиной расторопности.

– Щас! Что я, совсем без башни? Цвет подоночий, рисуночек того краше, еще бабки за это платить! У коменданта взял. У него на складе всего до хрена, хоть обоев, хоть краски. Хочешь – бери, сам ремонтируйся. Только никто не хочет.

Этому удивляться не приходилось. Еще во время экзаменов Георгий понял, что главная отличительная черта всех вгиковцев поголовно – абсолютный бытовой пофигизм. Вытряхнуть пепельницу считалось генеральной уборкой, и делать это было лень. А уж клеить обои... Федя Казенав был, наверное, единственным обитателем общаги, способным на такой подвиг.

– А почему ты в Киеве у себя поступать не стал? – спросил Георгий уже вечером, когда они с Федькой завершили наконец обустройство жилья и курили, лежа в кроватях. – Красивый город, нас туда на экскурсию возили в седьмом классе.

– Ну, красивый, а я при чем? – ответил Федька, пуская в потолок цепочку дымных колец. – Я ж только по паспорту хохол. По характеру – и то не совсем. Да и мовы не знаю.

– Ну, выучил бы, – подначивал Георгий.

– Пускай сами учат. Видал ты ихние рожи? Будут меня учить родину любить! Да пошли они со своей родиной... Я историю в школе еле сдал. Почитал бы ты эти вопросики! Все про москалей, какие они гады. Русской литературы вообще в программе нет – так, то-се, типа факультатива. Я после школы три года работал, так даже забывать было нечего. С учительницей перед поступлением позанимался, со старушкой, хоть «Войну и мир» прочитал.

– Думаешь, здесь все так хорошо? – спросил Георгий – неизвестно, у Федьки или у себя.

– Да уж получше! Когда в Москве стригут ногти, в Киеве режут пальцы. Знаешь такую пословицу? Вот и твори, выдумывай, пробуй, как Маяковский перед самоубийством завещал. Лучше бы, конечно, в Германию свалить или хотя б в Израиловку. Но тоже – мовы басурманской не знаю, воевать за ридну Израильщину неохота. Повезло еще, что родители меня в Сибири родили. Ну, ездили когда-то на комсомольскую стройку, дурь молодая в головах гуляла. Оформил российское гражданство, сюда поступил бесплатно. А то вообще бы хоть в петлю. Я в Киеве три года знаешь как крутился? Ослиной мочой только не торговал, а так все перепробовал. Ну и что? Даже на отдельную хату не накопил, не то что на коммерческую учебу. Ничего, мы в Москве прорвемся, – подмигнул он. – Ты рыжий, я хохол, мы с тобой друг друга стоим!

За полтора месяца соседства Георгий понял, что с Федькой можно идти пешком на Северный полюс. Он был неприхотлив, незлобив и надежен. Единственной его странностью была патологическая чистоплотность. Федька нервничал даже от вида тонкого слоя пыли на маленьком телевизоре, который он привез из дому. Тумбочка в прихожей была заставлена всевозможными моющими жидкостями и порошками. Федька даже у Лерки и Лорки первое время пытался наводить порядок, хотя бы снимать колготки с книжных полок и класть их в шкаф. Правда, вскоре он махнул рукой на этот сизифов труд, но чистота в собственной комнате – это было святое.

Что ж, Георгий тоже не слишком любил то, что в общаге считалось творческим беспорядком, поэтому Федькины привычки его вполне устраивали.

Казенав помог накрыть стол ко дню рождения, хотя заметил при этом, что на такие деньги даже кошек не накормишь.

– Абрикосовки, выходит, не будет? – удивился он, узнав, что запасы фруктового самогона, казавшиеся неисчерпаемыми, у Георгия кончились. – А чего ж ты ее выставлял всем и каждому, раз у самого мало было? Ну, Рыжий, ты даешь! Да в них же хоть ведро каждый день вливай – сожрут и не заметят. Мог бы и заначить. И денег, считай, нету... Ты каким местом думал, когда за месяц все гроши потратил? Ну, ладно, ладно, – успокоил он, глянув в смущенное Георгиево лицо. – Придумаем что-нибудь. Картошки наварим побольше, а то попривыкали икрой закусывать.

Привычки закусывать икрой в общаге ни у кого не наблюдалось. Скорее, наблюдалась привычка вообще не закусывать, увлекшись спором о том, кто гениальнее – Феллини или Витька Ремцов с третьего курса. Вопрос со спиртным тоже решился просто: Федька велел каждому гостю приходить со своим бухлом, объяснив, что это будет лучшим подарком. В результате всего этого сдвинутые письменные столы были уставлены разномастными бутылками, которые были открыты одновременно и пились вперемежку, без забот о повышении и понижении градуса.

Марфа появилась, когда веселье было в самом разгаре. Георгий думал уже, что она не придет, и чувствовал себя из-за этого не столько расстроенным, сколько слегка уязвленным.

– Стучу, стучу, а вы не слышите, – сказала Марфа, появляясь на пороге комнаты.

– О, Марфушенька-душенька! – заорал Федька. – Ты свои интеллигентские штучки брось. Слышишь голоса – входи без заморочек.

Георгий повесил на гвоздь Марфину замшевую куртку. Под курткой на ней был надет необыкновенный пиджачок – темно-синий, с ассиметричными лацканами и большими, пришитыми в каком-то гармоничном беспорядке деревянными пуговицами.

– Поздравляю, Герочка, – сказала она и, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. Косметикой Марфа совсем не пользовалась, но от нее пахло духами – так тонко и чуть горьковато, что казалось, это и не духи вовсе, а просто запах ее волос. – Казенав сказал, ты только бутылки в подарок принимаешь. А закусь берем? – поинтересовалась она, развязывая шнурок на своей большой коричневой сумке-мешке. – Что ж, держи, именинник.

Она протянула Георгию литровую бутылку шотландского виски и большую банку испанских маслин.

– Берем, берем, а как же! – обрадованно закивал Федька. – Утонченная ты девушка, Марфушенька, другая бы водки с селедкой принесла.

– Не слушай ты его, – смутился Георгий. – Спасибо, что пришла.

– Ах, какая вежливость! – засмеялась Марфа. – Да-а, Герочка, не пообтесался ты еще! Ну, держи тогда интеллигентский подарок.

Она извлекла из своей бездонной сумки огромный сверток, перевязанный серебристым шнурком поверх темно-синей бумаги. Георгий развернул бумагу, мимолетно пожалев, что приходится разрушать такую изящную упаковку, и подивившись, что Марфа отнеслась к этому так тщательно.

Увидев подарок, он оторопел, не зная, что сказать.

Это был альбом немецкого фотографа Зандера, выставка которого под названием «Люди XX века» недавно открылась в Пушкинском музее. Георгий уже успел сходить на эту выставку, отстояв двухчасовую очередь. По залам он бродил часа четыре: не мог оторваться от бесконечной череды портретов – рабочих, адвокатов, крестьян, детей крестьян, детей городских служащих, нацистов – и с тоской думал о том, что альбом Зандера, продававшийся тут же, в фойе, купить невозможно. Георгий не задумываясь отдал бы за альбом все свои деньги, так заворожил его этот поразительный, мистический и какой-то пугающий сонм человеческих лиц. Но отдавать все деньги не имело смысла, потому что их все равно не хватило бы.

– Спасибо... – пробормотал он. – Но как-то...

– Ох, ну с ума от тебя можно сойти! – засмеялась Марфа. – Да не переживай ты так, не разорюсь я на подарках. К тому же книжку я тебе просто передариваю. Нам ее директор Пушкинского музея подарила, а у нас книжки уже есть. Может, меня наконец напоят? – спросила Марфа – уже не Георгия, а Федьку. – И хоть чем-нибудь накормят?

Все-таки она отличалась от всех собравшихся в общаговской комнате, хотя и старалась, чтобы это не было заметно. По-другому разговаривала, курила, даже ела... Может быть, просто потому, что училась не на первом курсе, а на третьем?

«Нет, не поэтому», – думал Георгий, время от времени поглядывая на нее.

И не мог понять, нравится ему Марфина непохожесть на других или раздражает.

Когда они вышли из общежития, оказалось, что на улице дождь – не дождь даже, а легкая серебристая изморось, почти туман. У Марфы был зонтик, но открывать его она не стала, сказав:

– Все равно не поможет. Весь воздух мокрый.

Георгий вызвался проводить ее, хотя до сих пор никогда этого не делал: она не просила, а он почему-то стеснялся предложить. Да вообще-то и не было никакого «до сих пор» – они встречались только дважды, когда ходили вдвоем в Дом кино и в «Иллюзион» на Котельнической набережной.

Трамвая долго не было. Марфины волосы намокли, и казалось, что они сделались тяжелыми. Выбившаяся прядь стала совсем волнистой и прилипла к блестящей от дождя щеке. Она достала из сумки сигареты – тоненькие «Вог». Георгий щелкнул зажигалкой.

– Нет, не буду, – сказала Марфа, сделав несколько затяжек, и отбросила сигарету. – Терпеть не могу под дождем курить: табак влажный, дым противный.

Георгию было все равно, влажный табак или сухой. В армии он курил махорку под сплошной стеной мокрого снега. Он относился к куреву без особой страсти, поэтому его не угнетало даже то, что уже неделю из-за безденежья вообще приходилось обходиться без сигарет.

– Я проедусь до центра? – предложил он, стараясь говорить небрежным тоном.

Небрежный тон ему не удавался, тем более сейчас, когда голова немного гудела от выпитого, хотя он пил не много – экономил для гостей. Зато Марфе небрежный тон удавался прекрасно. Она всегда говорила так, что невозможно было понять, волнует ее разговор или она поддерживает его только из вежливости.

– А что, надоела компания? – усмехнулась она. – Да, утомительно. Я вообще не представляю, как можно в общаге жить. Какая-то натужная игра в богему, в то время как все эти милые провинциальные люди о богеме понятия не имеют.

Она кого угодно могла вывести из себя, притом с полной невозмутимостью! Неужели она не понимает, что он-то ведь тоже провинциальный человек, пусть даже со снисходительным эпитетом «милый», и ее слова могут быть ему неприятны?

– А ты не обижайся, – спокойно сказала Марфа. – На обиженных...

– Знаю, знаю – воду возят, – улыбнулся Георгий.

– Вот именно. Ты становишься гораздо выразительнее, когда даешь волю своему природному любопытству, чем когда стараешься казаться невозмутимым.

Она видела его насквозь, и Георгий не знал, радуется ли это или злит. Во всяком случае, это его будоражило, он никогда не знал, чего ожидать от Марфы.

И он попытался ее смутить – вдруг получится?

– Что ж, интересно, во мне такого выразительного? – спросил он. – Объясни как-нибудь по-простому, чтобы даже я понял.

Марфа окинула его неторопливым, оценивающим взглядом. Точно так же смотрела на Георгия ее мама Мария Самойловна – в приемной комиссии, а потом во время экзамена, – словно размышляя: к чему его можно приспособить?

– Во-первых, ты рыжий, – сказала она. – Конечно, если бы ты собирался быть актером, это имело бы более практическое значение. Но все равно, это даже просто по-человечески перспективно. Особенно в сочетании с твоим ростом и грандиозными плечами.

– Перспективно? – удивился Георгий. – В каком смысле?

– В том смысле, что бог дал тебе форму, – объяснила Марфа. – Твоя внешность запоминается сама собой, без усилий, а это уже неплохо, потому что людей слишком много и лень запоминать каждого. Во-вторых, у тебя интересные глаза. Непонятно, какого они цвета.

Это Георгий и сам знал, хотя никогда не придавал значения такой ерунде, как цвет собственных глаз. Какая разница, карие они или серые? Он же не кинозвезда.

– Вообще-то они светло-карие, – продолжала Марфа – так, словно речь шла о музейном экспонате, а она была экскурсоводом. – Но иногда становятся стальными.

– Стальными? – изумился Георгий.

– Да. Ты, видимо, не отдаешь себе в этом отчета, но это происходит, когда ты сердишься. Знаешь, есть такие лампы с гелем, в котором плавают металлические блесочки? Вот и у тебя в глазах, очевидно, проворачивается что-то вроде пластиночек стального цвета.

Георгий почувствовал, что его охватывает такое сильное смущение, какого он не чувствовал никогда. Это было так удивительно – то, что она говорила! Нет, ему было наплевать

на какие-то блесочки. Но то, что Марфа, оказывается, вглядывалась в его глаза, думала о том, как и почему меняется их цвет... Это было так странно!

И вдруг Марфа расхохоталась.

– Ах, Герочка, до чего же ты забавный! – проговорила она. – У тебя все чувства написаны на лице, это так интересно! Ты думаешь, я ради удовольствия твои прелестные глазки рассматривала? Да я просто вырабатывала профессиональные навыки, неужели непонятно? Я же киновед, должна описывать то, что вижу на экране, – объяснила она оторопевшему Георгию. – Причем описывать так, чтобы это мог представить человек, никогда не видевший фильма. Вот я и тренируюсь. И уверяю тебя, мне почти все равно: описывать, как меняются твои глаза, или... Ну, например, как блестят капли дождя на твоей кошмарной куртке. Герочка, трамвай идет. Ты все еще собираешься меня провожать?

Не отвечая, Георгий пропустил Марфу в открывшуюся дверь трамвая и поднялся следом за ней на площадку.

«Развесил уши! – сердито подумал он. – Пора бы уж привыкнуть...»

– Тебе до «Театральной»? – спросил он, когда трамвай остановился у метро.

– Нет, я живу на Арбате, как положено, – ответила Марфа. – В Староконюшенном переулке.

– Но ты до «Театральной» ехала. Ну, тогда, из Дома кино.

– Просто мамина тетя живет на Моховой, – объяснила Марфа. – Она не совсем здорова, и я иногда ночую у нее.

Вся ее жизнь состояла из каких-то неведомых ему обстоятельств, которые, он чувствовал, были в этой своей неведомости незбылемы, как названия московских улиц.

– Можно, я в метро с тобой проеду? Я... Мне... В общем, мне хочется с тобой поговорить. Мне с тобой интересно говорить! – выпалил Георгий.

– Мне с тобой тоже, – улыбнулась Марфа. – И я даже могу объяснить, почему. Ты готов не только говорить, но и слушать, и ты не считаешь, что женщина должна быть душой. Это радует.

– Знаешь, я вообще ничего о женщинах не считаю, – сказал Георгий. – Я о них очень мало знаю, хотя у меня их было довольно много.

– Да ты Казанова, оказывается! – насмешливо протянула Марфа. – И сколько ты разбил сердец?

– Нет, я не потому... Я не для того сказал, чтобы похвастаться, – снова смутился он. – Просто я думаю, что женщины гораздо загадочнее мужчин, и мне это нравится.

– Свежая мысль, – пожала плечами Марфа. – Ладно, Герочка, если хочешь ехать – поехали.

– Тебе неприятно было сегодня? – спросил он уже в вагоне метро. – Ну, в общаге?

– Да нет, – повела плечом Марфа. – Вообще-то я привыкла к такому дурдому. У нас киношная семья, – объяснила она. – Маму ты знаешь, а папа раньше был режиссером, теперь он продюсер, довольно известный. Это сейчас все стали жить как-то обособленно – более естественно для цивилизованных людей, я бы сказала. А раньше к нам почти каждую ночь компании заваливались. В центре ведь живем, вот все и являлись после кабака, если в метро не успевали. Так что все это, можно сказать, фон моего детства.

– Но ты как-то морщилась, мне показалось, – сказал Георгий.

– Я просто терпеть не могу травку, – сказала Марфа. – Даже в виде дыма. У меня от нее голова болит.

Георгий и сам не очень любил сладковатый запах марихуаны. Но забивание косячков было таким же непременным атрибутом любого вгиковского сборища, как литрами выпиваемый кофе. Не станешь же запрещать!

– И потом, всерьез сравнивать себя с Бергманом может только полный идиот или маленький ребенок, – добавила Марфа. – А мне ни те, ни другие не интересны, поэтому я избегаю разговоров такого уровня.

– Слушай, а сколько тебе лет? – вдруг спросил Георгий.

– И ты туда же! – поморщилась она. – Я с пяти лет слышу: ах, как не по годам развита эта девочка! Мне двадцать один год, как и тебе, но это ровно ничего не значит. Ты в самом деле очень милый, Герочка, и будет очень жаль, если ты станешь банальным. – Я постараюсь тебя не разочаровать, – улыбнулся в ответ Георгий.

– Не могу сказать, что я тобой очарована, но все-таки спасибо.

Георгий проводил ее до самого дома. Как он и думал, это был настоящий московский дом – не просто старый, а старинный, с кариатидами над входом и просторным вестибюлем первого этажа. Вестибюль Георгий увидел только мельком, когда Марфа открыла подъездную дверь длинным плоским ключом.

Ему вдруг стало тоскливо и захотелось, чтобы она поскорее ушла.

«А ведь я в нее даже не влюбился, – думал он, медленно шагая по Сивцеву Вражку к бульварам. – И не хочу ее, и что красивая – не сказать... Чего ж я к ней лезу?»

Он действительно не понимал, почему ищет общения с Марфой, почему терпит ее насмешки и снисходительный тон. И всю дорогу до общежития – пешком, в метро, на трамвае – вспоминал, как в первую неделю учебы познакомился с этой непонятной девушкой.

– Все говорят «проездной», ты показывай! – услышал Георгий и встрепенулся, открыл глаза.

Один коренастый коротышка-контролер стоял неподалеку от него, а второй ужом протискивался сквозь толпу пассажиров на помощь первому, держа в руке, как знамя, зашмыганное красное удостоверение. Непонятно только было, какая требовалась помощь: первый контролер обращался к невысокой девушке, которая нисколько ему не сопротивлялась, а старательно перетряхивала большую коричневую сумку, висящую у нее на плече. Лицо у девушки было чуть-чуть смущенное. Но вот именно чуть-чуть – заметно было, что вообще-то она не привыкла смущаться.

Второй контролер наконец протиснулся к коллеге, и тут Георгий заметил, что контролеры – близнецы. Он никогда не видел взрослых близнецов, и ему стало интересно рассмотреть их повнимательнее.

Но тут близнец номер два присоединился к брату.

– Быстро давай ищи! – заорал он прокуренным басом, неожиданным при его маленьком росточке. – Ишь, шалавы, повадились без билетов кататься!

– Что вы себе позволяете? – возмутилась девушка и сразу перестала копаться в сумке. – Если даже я забыла проездной, то вы должны взять штраф, а не...

– Наебать хочешь?! – Близнец орал так упоенно, как будто девушка была первая безбилетница, которую он встретил в жизни, и поэтому она вызвала у него какое-то особенное возмущение. – Забыла она! Корчат из себя интеллигентных, а сами так и норовят на чужом горбу проехать!

А вот это было уже не так интересно. Может, Георгий и не обратил бы внимания на обычное троллейбусное хамство, но ему почему-то не понравилось, что оно обращено на эту девушку. Сразу было видно, что к хамству она не привыкла, но вместе с тем не знает, как ему противостоять.

Протиснувшись между пассажирами, он подошел к девушке, на ходу соображая, что лучше: сразу дать по морде каждому близнецу поочередно или сначала попытаться поговорить с обоими вместе. Но тут же понял, что можно поступить гораздо проще.

– Чего орешь? – сказал Георгий, глядя на коротышку не просто сверху вниз, а так, как смотрят на насекомых. – А ну отстань от девушки, пока в ухо не получил.

Может, если бы он был чуть пониже ростом, близнец и на него набросился бы с руганью. Но, во-первых, он оторопел, увидев перед собою такой шкаф в черной «косухе» – черт его знает, еще и правда двинет! – а во-вторых, дурак бы не понял, что этого парня не смутишь хамством.

Впрочем, Георгий не стал дожидаться реакции.

– Вот ее проездной, у меня, – сказал он. – Это моя девушка.

Девушка наверняка была студенткой, поэтому он не слишком рисковал, показывая свой студенческий проездной. Георгий был почти уверен, что контролер не станет вглядываться в фотографию, которую он прикрыл пальцем. А станет – ну, тогда видно будет.

– А... – начал более нервный близнец.

Наверное, он собирался потребовать, чтобы заступник предъявил собственный билет. Но брат, видно, был поопытнее его и предпочел не связываться.

– Ну, так бы сразу и сказал, – заметил он примирительно. – На лбу же у ней не написано, что она твоя. Проездные документы готовим для проверки! – заголосил он, отворачиваясь.

Георгий вышел из троллейбуса вслед за девушкой. Она шла по улице быстрой, легкой походкой, но, заметив, что спаситель идет за ней, резко обернулась.

– В чем дело? – спросила девушка.

Щеки у нее покраснелись то ли от возмущения недавним инцидентом, то ли от быстрой ходьбы, коса слегка растрепалась, черные глаза сердито блеснули.

– Ни в чем, – пожал плечами Георгий. – Просто была моя остановка, я и вышел. А как вас зовут?

– Я на улице не знакомлюсь, – смерив его презрительным взглядом, сказала девушка. – И в общественном транспорте тоже.

– А где вы знакомитесь? – не отставал Георгий. – Давайте пойдем туда и познакомимся!

– Да-а?.. – протянула девушка. – Что ж, я знакомлюсь, например, в ресторане «Националь». Или в «Метрополе», тоже вариант. Вы готовы пригласить меня туда?

– Готов, – кивнул Георгий. – Сейчас?

– Сомневаюсь, что сейчас у вас есть деньги хотя бы на чашку кофе в «Метрополе», – тем же презрительным тоном заметила она. – И не сейчас тоже. Извините, я опаздываю.

Она резко развернулась и все так же стремительно пошла вперед. Георгий постоял немного на месте – не идти же за ней шаг в шаг – и тоже двинулся по улице к зданию института, которое виднелось впереди, в тени старых деревьев.

Что девушка вгиковская, он понял сразу, как только рассмотрел ее получше. Он еще не мог назвать словами то общее, что было во всех студентах-киношниках, но чувствовал это общее безошибочно. Да и лицо ее показалось знакомым.

Девушка потянула на себя массивную входную дверь и скрылась в здании ВГИКа.

Конечно, Георгий увидел ее в тот же день – он теперь специально присматривался. И подошел к ней, когда она курила, вместе с другими студентами сидя на деревянной скамейке под зеркалом.

– А я уже знаю, тебя зовут Марфа Ряднова, – сказал он, присаживаясь на корточки рядом со скамейкой. – Ты на киноведческом учишься.

– А я вот не знаю, как тебя зовут, и знать не хочу, – ответила Марфа.

– Георгий Турчин, – представился он. – С операторского. Да ты не думай, я ведь просто так сказал, что ты моя девушка. Ну, чтоб контролер отвязался.

И тут Марфа расхохоталась.

– А я, между прочим, и не думаю, что ты сказал это по какой-то другой причине, – сказала она, отсмеявшись. – Очаровательная непосредственность! Ладно, придется уж с тобой познакомиться, защитничек. Только что из глубинки?

– А что, так заметно?

– Да уж, не бином Ньютона, – усмехнулась она.

И тут Георгий понял, почему Марфино лицо показалось ему знакомым! Даже не черты лица, а его выражение... Чтобы проверить свою догадку, он спросил:

– Это твоя мама в приемной комиссии работает?

– Моя, моя, – кивнула Марфа. – Она председатель приемной комиссии и еще историю зарубежного кино читает. Так что можешь считать, что я поступила сюда по благу.

– Мое-то какое дело? – пожал плечами Георгий. – Смотри, сейчас юбку прожжешь!

Пока Марфа беседовала с ним, длинный, с искрой, столбик пепла упал с ее сигареты прямо на узорчатый рисунок на темно-бордовой юбке. Она ахнула, захлопала ладонью по грубой холщовой ткани и расстроено сказала:

– Ну вот, все из-за тебя!

Это прозвучало уже не презрительно и не сердито, а совсем по-девичьи, даже по-детски. Георгий улыбнулся. Заметив это, Марфа неожиданно улыбнулась в ответ и сказала:

– Наше знакомство начинается с неприятностей.

– Ничего, – ответил он, – я постараюсь больше тебе их не причинять.

– Посмотрим! – хмыкнула Марфа.

Глава 5

К зимней сессии Георгий окончательно убедился в том, что учиться во ВГИКе в общем-то нетрудно. Надо было, правда, исправно посещать все лекции и семинары, за этим деканат следил с необычной для творческого вуза строгостью. Но это Георгия как раз не угнетало. Ему некуда было особенно ходить, кроме института, он не привык спать до полудня, как большинство его однокурсников, да и лекции были интересные.

Его угнетало другое, и чем дальше, тем все больше... Георгий видел, что тому, для чего он сюда пришел – операторскому делу, – его никто учить не собирается. Муштаков осенил группу своим присутствием всего дважды, в сентябре. Да и то, если на первом занятии он выглядел оживленным и говорил какие-то интересные вещи – например, о праве оператора на субъективность, – то на втором уже смотрел на своих студентов пустыми, равнодушными глазами, с неохотой слушал то, что они пытались ему рассказывать, и, судя по всему, мечтал только об одном: поскорее отделаться от этих назойливых людей, которые неизвестно чего от него хотят.

Во вгиковской мастерской Муштакова было десять студентов, среди которых Георгий смотрелся просто мальчишкой. Их возраст подходил к тридцати, почти все они поступили с третьего, а то и с четвертого раза, успели поработать на телевидении, что-то поснимать и с небрежной уверенностью рассуждали о такой неведомой вещи, как компьютерный видеоарт.

Георгий не то что о видеоарте, но даже о компьютере имел самое приблизительное представление. В Таганроге он никогда его не видел и считал гибридом печатной машинки с калькулятором. Он слышал, что в Москве компьютеры уже появились, хотя и стоят дико дорого – чуть ли не так же, как квартира. Ну и что, что слышал? Все равно, попав в Москву, он не представлял, где на этих компьютерах работают и как.

Ему становилось все яснее, что он поступил на операторский случайно, что выглядит во всех отношениях белой вороной и не обладает ни одним из тех качеств, которые помогли бы ему утвердиться в этом странном творческом мире. Этот мир не удивить было ни молодым запалом, ни страстным желанием работать. А главное, он совершенно не нуждался в новичках, потому что и так был под завязку заполнен незаурядными, уже состоявшимися людьми...

От всего этого брала тоска. Вот Федька Казенав – тот не унывал никогда.

– Ты, Жорик, зря депрессию на себя нагоняешь, – говорил он. – Уныние – смертный грех, слышал? И вообще, сейчас, может, время разбрасывать камни, а урожай потом снимем.

– Какой же урожай от камней? – невесело усмехался Георгий.

Федьке все-таки было проще: сценарные идеи вертелись у него в голове в неимоверном количестве, и для того, чтобы их воплотить, требовался только лист бумаги. Да пронырливость, которой Федьке было не занимать. Он уже знал каких-то людей на «Мосфильме», раздал десяток своих сценарных заявок каким-то продюсерам, был своим человеком в буфете Дома кино и даже попал однажды в вытрезвитель вместе с одним молодым и перспективным телеведущим.

А что мог сделать Георгий, если за полгода он даже камеру ни разу в руках не подержал?

А поснимать камерой ему хотелось так, что просто скулы сводило! Даже примитивную армейскую «Супер-8» он вспоминал теперь с тоской. Фотографии надоели, ему не хватало в кадре движения, не хватало жизни...

«А потом что? – невесело размышлял он, возвращаясь в общагу после занятий. – Допустим, дадут когда-нибудь и камеру. Ну, будут же практические занятия, хотя бы на старших курсах. Дадут, снимаю, сдам экзамен – и что?»

Наверное, о чем-то подобном задумывались все студенты операторских мастерских ВГИКа. Да и не только операторских... Но что ему было до каких-то «всех»? Ему недавно минуло двадцать лет, силы кипели в нем, он видел тайную жизнь внешнего мира, чувствовал,

что может остановить ее своей рукой, сделать зримой для всех, – и его с ума сводила мысль о том, что все это происходит в его душе впустую.

Георгий не находил большого удовольствия в выпивке, но уже через пару московских месяцев с удивлением понял, что только водка выводит его из состояния растерянности и унылой подавленности. Впрочем, удивление было не очень-то сильным. В институте не было, кажется, ни одного студента, который не пил бы или не курил травку. Это была традиция, и ее как-то даже неприлично было нарушать. В конце концов, и Шукшин пил. А Высоцкий не только пил, но и сидел на игле, хотя в советские времена наркотики еще не были так доступны. И любой кинофестиваль, это все знают, представляет собой одну сплошную пьянку, в которой активно участвуют даже самые яркие звезды. А Депардье, например, и вовсе запойный алкоголик, и даже не скрывает этого.

Что бы Георгий ни пил, голова у него на следующий день никогда не болела, он даже не понимал, что это такое, похмелье. Да и пил он довольно спокойно. По крайней мере, не грозился всех поубивать и не выбрасывал из общаговских окон кастрюли с супом, как это любили делать многие вгиковские студенты.

И о чем, в таком случае, было переживать? Ему ведь просто становилось веселее от спиртного, и будущее не казалось таким уж безнадежным, и верилось, что силы его не уйдут в песок...

– Ты п-понимаешь... В общем, у меня просто руки чешутся...

Они сидели в неудобном, как рабочая столовая, прокуренном буфете на втором этаже Союза кинематографистов, пили коньяк, и Георгий уже полчаса объяснял Марфе, почему разочарован институтом, Муштаковым, его мастерской, Москвой... Встретились они случайно. Георгия затащил сюда Федька, потом он куда-то умчался, и тут появилась Марфа – наверное, приходила за чем-то в Союз.

Сразу после лекций Георгий выпил с Федькой бутылку водки прямо в зеркальном предбаннике вгиковского буфета, поэтому коньяк ложился теперь на прежний хмель. К тому же он ничего не ел целый день, без размышлений сделав финансовый выбор между едой и выпивкой.

Марфа на его рассказ никак не реагировала. Она прихлебывала коньяк, разглядывая, как он искрится и переливается в свете неярких ламп. Наверное, размышляла, как будет описывать эту золотую игру света, если увидит ее на экране.

– А Гондурас не беспокоит? – поинтересовалась она наконец.

– Какой Гондурас? – опешил Георгий.

– Анекдот такой есть, – спокойно объяснила Марфа. – Да ему сто лет, неужели не знаешь? Как Петька говорит: «Что-то меня, Василий Иванович, Гондурас беспокоит», – а тот ему отвечает: «А ты его, Петька, не чеши».

– Я не чешу, – криво усмехнулся Георгий. – Само чешется. С тобой, наверно, такого не бывает. Ты чего захочешь – все получишь. А я...

– А ты бедный-несчастный деревенский мальчик, никто тебя не ценит, в объятиях не душит, светлого будущего не обещает, – словно гвозди вбивая, произнесла Марфа. – Ах-ах, как тебя жалко! Помнится, один твой земляк тоже вот так вот явился в Москву, уверенный в собственной исключительности. Пьеску свою самой Ермоловой принес, ни более ни менее как для бенефиса. А сам небось говорить не умел по-человечески – гыкал, наверное, вроде тебя. И вместо «скрипеть» писал «рипеть». Но зато правильно к себе отнесся, и это впоследствии дало результат.

– Какой мой земляк? – не понял Георгий.

Хмельная заторможенность мешала ему, и он безуспешно пытался с ней справиться.

– А что, у тебя так много знаменитых земляков? – поинтересовалась Марфа. – По-моему, кроме Чехова, никого.

– А-а!.. – хмыкнул Георгий. – Нет, еще Модест Чайковский был.

И тут же удивился, даже сквозь тупой хмель. Конечно, он слышал о Чехове постоянно, как слышал о нем любой житель Таганрога и уж тем более ученик школы его имени. В старой части города было множество домов, на которых висели мемориальные доски: «Здесь жил прототип Ионыча... Беликова...» И все-таки Чехов был для Георгия почти абстракцией. Ну, жил такой умный человек сто лет назад, писал хорошие рассказы. Он-то здесь при чем?

А Марфа говорила о Чехове так, как будто он был по меньшей мере знакомым ее родителей! И откуда она знает про эти «скрипеть-рипеть» и про таганрогский выговор?

– Тебе бы учительницей быть, – поморщился Георгий.

– С тобой пообщаешься – можно даже воспитательницей в детском саду, – не осталась в долгу Марфа. – Руки у него чешутся! Читал бы лучше побольше, а то сидит тут, слезы льет в стакан. Ты перестаешь быть мне интересен, – отчеканила она, глядя Георгию прямо в глаза. – А вести с тобой душеспасительные беседы – поищи дурочку.

Она залпом допила коньяк и встала. Глаза ее сердито блеснули, выбившаяся прядь совсем закрыла порозовевшую щеку.

– Ну, погоди... – пробормотал Георгий. – П-погоди, я тебя провожу...

– Если ты собираешься нить всю дорогу, то не надо, – фыркнула Марфа. – Да и вообще не надо. Я сама дойду.

Она взяла с соседнего стула свою шубку и не оглядываясь пошла к лестнице. Георгий все-таки вышел вслед за ней из буфета, на ходу натягивая куртку.

Марфу он догнал уже на улице, на углу Дома кино. Она шла быстро, а Георгий – медленно. Но при этом они шли рядом, потому что ему хватало одного шага, чтобы пройти расстояние, для которого ей требовалось три. Он только покачивался слегка и старался, чтобы Марфа этого не заметила. Впрочем, было скользко, поэтому его нетвердая походка не очень бросалась в глаза.

Было не только скользко, но и холодно. После долгой теплой осени декабрь казался просто лютым. Васильевская улица выглядела очарованным лесом – деревья были покрыты колким инеем, а проезжая часть напоминала санный путь. Георгию вдруг показалось, что он идет по Москве каких-то давних времен. В вечернем морозном тумане сглаживались современные очертания домов, блеснули и переливались окна, и мир вокруг выглядел рождественским, счастливым, бодрым...

Если бы не два года на Дальнем Востоке, для него совсем невыносимы были бы московские холода. А так – он все-таки привык. Но голова у него мгновенно замерзла, по ушам и щекам побежали морозные мурашки. Он посмотрел на Марфу. Она надела капюшон, глаза ее сбоку не были видны, но ему почему-то показалось, что ее гнев немного поостыл на морозе.

Сразу же выяснилось, что показалось напрасно.

– Ну, чего ты так пыхнула? – примирительно произнес Георгий. – Мне же просто некому про все это рассказать...

– А почему ты вообще решил, что об этом надо кому-то рассказывать? – тут же откликнулась она. – Твои сомнительные страдания неизвестно о чем – это твое личное дело. Лучше бы ты поучился не выглядеть идиотом.

– Как? – Георгий даже приостановился от удивления. – П-почему я... идиотом?..

– Да уж это тебе лучше знать, почему, – пожала плечами Марфа. – Вот объясни мне, пожалуйста, почему в пятнадцатиградусный мороз ты напялил эту дурацкую куртку, которую и в дождь-то можно надевать только с закрытыми глазами?

Георгий почувствовал, что сейчас покраснеет, несмотря на то, что, вообще-то, не имел такой привычки. Марфа и на этот раз попала в больное место.

Кожаную «косуху» он носил зимой потому, что стеснялся надевать теплый кожаный. Георгий быстро понял, что и «косуха» – не самая элегантная одежда. Но она хоть не так бросалась

в глаза и ее можно было считать эпатажем, на который так падки были студенты-киношники. А грязно-желто-белый кожаный халат хоть и был теплым, но выглядел так, словно Георгий собирался запрягать коня или торговать пирожками у вокзала.

Однажды он заглянул на вещевой рынок в Тушино, приценился к дубленкам и понял, что даже если купит самую дешевую, то на это уйдут все деньги, отложенные за год фотографирования таганрогских свадеб, и жить в Москве будет уже не на что. Да еще этот рост его... Попробуй найди на такой дешевую одежду!

– Слушай, ну это совсем уже! – Георгий остановился посреди улицы, и Марфа невольно тоже остановилась, повернулась к нему. – Ты хоть что-нибудь когда-нибудь стыдишься говорить? Или ты думаешь, у всех есть деньги на такие шубки?

Короткая Марфина шубка была такая же, как вся ее одежда – неброская, изящная и, сразу понятно, очень дорогая. Светло-кофейный, даже на вид мягкий мех почему-то находился внутри, а наружная поверхность была матовая, нежная. Когда Георгий впервые увидел эту шубку, то вспомнил Марфину косыночку с едва заметным автографом на уголке.

– Думаю, деньги есть не у всех, – спокойно отчеканила Марфа. – У тебя, например, нет и не скоро будут. Но ведь нормальный человек не должен этого стесняться, как же ты не понимаешь! Какой-то полушубок я на тебе видела. Вот и носи его, а не зарабатывай бронхит ради дешевого понта! Тебе, Герочка, – добавила она уже спокойнее, – еще так многому надо научиться, что съемки на камеру – не дело первой необходимости. Все, дальше не провожай, – сказала она. – Я уже пришла. Мне надо с одним человеком встретиться.

Они незаметно дошли до угла Васильевской и Тверской.

– Может, я подожду? – совсем уж глупо спросил Георгий.

– Нет, – покачала головой Марфа. – Ему надо со мной поговорить, это надолго.

– Ему? – Георгий сам не понимал, что и зачем плетет его пьяный язык. – А тебе?

– И мне тоже, – кивнула она. – Мне даже больше, чем ему. Но это тебя не касается.

Что можно было после этого сказать? Георгий повернулся и, скользя и спотыкаясь, пошел по Тверской к метро.

Глава 6

На следующее утро у него впервые болела голова. Вставать было неохота, на лекции идти – тем более. И вообще было тошно – то ли из-за похмелья, то ли из-за вчерашнего разговора с Марфой.

«Хватит! – решил Георгий, стоя под ледяным душем и морщась от острых струй, хлещущих по больной голове. – Чего я должен все это слушать? Воспитательница в детском саду! Чехов у нее, видите ли, правильно к себе отнесся... Много она понимает в Чехове! Да и вообще... в талантах».

Он вспомнил, что сегодня в малом просмотровом зале будут показывать «Похитителей велосипедов», и это немного взбодрило его. Георгий еще не видел этого фильма, потому что ни в одном таганрогском прокате не нашлось кассеты с таким раритетом. Но то, что он читал об итальянском неореализме, будоражило его воображение и подхлестывало любопытство.

И фильм не разочаровал его. Это еще мало сказать, не разочаровал... Он потряс его, вверг в почти шоковое состояние! Оператор Монтуори сделал именно то, что хотел сделать он сам. Показал город – огромный город, великий город – глазами одинокого, никому не нужного человека. И во взгляде этого человека, разыскивающего по всему Риму свой похищенный велосипед, не было отчаяния, а было что-то совсем другое – светлое, печальное, щемящее...

После фильма Георгий машинально спустился на первый этаж, где находился операторский факультет, потом зачем-то прошел через коридор левого крыла на лестницу, а оттуда – в стеклянный переход, ведущий на учебную киностудию. Здесь он опомнился и остановился.

«Городу и миру... Городу и миру...» – непонятно почему вертелось у него в голове.

Этот прозрачный переход был второй по популярности – после пятачка перед буфетом – курилкой ВГИКа. Здесь вдоль достающих почти до самого пола стеклянных стен стояли деревянные скамейки, урны и кадки с цветами. И сидели на скамейках и на полу студенты всех курсов и факультетов. Они курили, пили кофе из бумажных стаканчиков, болтали, спорили, что-то доказывали, исповедовались в чем-то лучшим друзьям, а заодно и всем окружающим...

– Тарковский твой уже не катит... пятый раз хожу сдавать... – гудело под стеклянным потолком.

Георгий присел на корточки рядом с большой кадкой, в которой росло что-то долговязое и зеленое, закурил. Он пытался связать свои сумбурные впечатления в ясные мысли, которые можно было бы потом, во время обсуждения на семинаре, облечь во внятные слова.

– Ну что, болит голова? – донеслось сверху.

Сначала Георгий увидел перед собой короткий кожаный сапожок на низком каблучке-«рюмочке». В сапожок были заправлены черные джинсы. Потом он поднял голову и увидел Марфу.

– С чего ей болеть? – пожал он плечами.

Настроение у него почему-то сразу испортилось. Даже не то чтобы испортилось, а как-то увяло, как будто Георгия окатили холодной водой.

– Лицо обморочное, – спокойно объяснила Марфа. – В сочетании с рыжей шевелюрой – очень фактурно. Ходячий плакат о вреде зеленого змия и курения натошак.

Георгий тут же ощутил металлический привкус во рту, о котором успел забыть, пока смотрел «Похитителей велосипедов».

«Что за девка чертова!» – сердито подумал он.

– Ладно, тебе чего? – мрачно спросил он.

– Мне – ничего, – пожала плечами Марфа. – А вот ты, помнится, вчера убивался, что теряешь свою высокую квалификацию.

– Какую квалификацию? – не понял Георгий.

Что и говорить, Марфа умела ошеломить и заинтриговать!

– Операторскую. Разве не ты плакался, что достиг небывалых высот, снимая камерой «Супер-8», а теперь вынужден без нее обходиться и посему невыносимо страдаешь?

Марфа смотрела насмешливыми глазами, грызла кончик косы и нетерпеливо постукивала узким носком сапога. Весь ее вид говорил: как же трудно разговаривать с тупыми людьми!

– По-моему, ничего такого я не говорил, – сквозь зубы процедил Георгий. – Не понимаю, почему ты так стараешься мне доказать, что я существо второго сорта?

– Пока что ты вообще никакого сорта, – заявила Марфа. – Так, пересортица. – И, прежде чем он открыл рот, чтобы высказать все, что о ней думает, добавила: – Если хочешь, можешь поснимать. Не «Супер», конечно, но как суррогат сойдет.

С этими словами она сняла с плеча небольшую сумку и протянула Георгию. Тот машинально взял сумку в руки, почувствовал ее неожиданную тяжесть, открыл... В сумке – точнее, в чехле – лежала японская видеокамера. Георгий почувствовал, что у него неприлично открывается рот. Однажды он снимал на видеокамеру – конечно, не на такую, а на более примитивную и громоздкую, но все-таки настоящую, заграничную. Об этом попросил его отец жениха на одной из свадеб.

– Смотри только, не урони, – твердил подпивший папаша. – И не жми абы куда. Я с Сингапура привез, дорогая вещь, на весь город одна такая!

И вдруг Марфа спокойно отдает ему камеру, которая стоит, наверное, не меньше, чем новые «Жигули»...

– «Похитителей велосипедов» смотрел? – поинтересовалась Марфа. – Вам же сегодня показывали. Ну вот, повтори подвиг героя, поброди по городу.

Она последний раз затянулась, бросила окурок в урну, повернулась и пошла по стеклянному коридору к лестнице. Марфа редко носила брюки, и понятно было, почему: бедра у нее были, пожалуй, широковаты, и даже черные джинсы не совсем скрывали этот недостаток. Впрочем, не похоже было, чтобы она комплексовала по этому поводу.

– Подожди! – Георгий наконец пришел в себя. – Что значит – «поброди»? Но... И вообще... А как тебе ее вернуть? – задал он наконец самый глупый вопрос.

– А что, ты разве больше не явишься в институт? – Марфа остановилась и насмешливо посмотрела на него. – Я, во всяком случае, учебу пока не бросаю. Увидимся, надеюсь.

Он бродил совсем рядом, не дальше ВДНХ. Просто боялся удалиться от ВГИКа, словно здесь было безопаснее ходить с этой изящной, добротной и пугающе прекрасной вещью. Он даже пытался спрятать камеру в рукав кофуха, чтобы она не так бросалась в глаза прохожим. Мало ли...

Но вскоре Георгий напрочь забыл обо всем. Чего бояться, да разве он позволит кому-нибудь сделать хоть что-нибудь, что могло бы повредить этому удивительному инструменту, прижатому к его ладони!

Весь мир интересовал его теперь ровно настолько, насколько умещался в объективе. И этот мир, просветленный совершенной оптикой, оказался таким огромным, что больше ничего и не было нужно. С каким-то самозабвенным упоением Георгий ловил объективом человеческие лица или надолго останавливался на неподвижных деталях городского пейзажа – и их неподвижность оказывалась мнимой, потому что становилась видна и понятна их скрытая напряженная жизнь. Ему нравилось выстраивать какие-то мгновенные сюжеты, то ли символические, то ли игровые, и менять их прежде, чем они успевали ему надоесть.

Например, он шел навстречу прохожему, наставив камеру прямо ему в лицо, и целую долгую минуту наблюдал реакцию. Почему-то последней точкой реакции каждый раз оказывалось раздражение. При этом лицо прохожего, даже если это была молодая и красивая женщина, каменело, во взгляде проступал металл. И тогда Георгий медленно, панорамируя, переводил

объектив на лица металлических рабочего или колхозницы – в зависимости от пола раздраженного прохожего. Ему самому становилось смешно от такого незамысловатого, но ясного сравнения, и он представлял, как будет смеяться тот, кто увидит потом эту сценку.

Камера легко, как будто даже с охотой, выполняла любые его желания. Вообще-то Георгий быстро разбирался даже в самой сложной технике, не зря его в армии посадили на пост, на котором, кроме него, работали только вольнонаемные сообразительные женщины. Но сейчас эта его способность оказалась ненужной. Камера была исполнена той простоты, которая не требует напряжения. И благородство этой простоты было очевидно.

«Как Марфина косыночка», – вдруг подумал Георгий.

Он не заметил, как стемнело – рано, по-зимнему, – и еще поснимал немного, пытаясь уловить завораживающий трепет московских вечерних огней. Но потом все-таки убрал камеру в чехол, понимая, что и ее возможности не безграничны.

Трамвая он ждать не стал – пошел в общагу пешком, чтобы в злобной пиковой тесноте не разрушить то состояние восторга, в котором находился весь день. Точнее, с той минуты, как взял в руки камеру.

Ветер, вдруг поднявшийся к вечеру, хлестал в лицо, как на Дальнем Востоке. Георгий и вспоминал сейчас Дальний Восток, но не из-за ветра, а из-за того счастья, которое впервые почувствовал там.

Служба оказалась не столько трудной, сколько нудной.

Но, как он вскоре узнал, так было не всегда. Когда-то гарнизон здесь был огромный – о нем теперь напоминал только непомерно большой Дом офицеров – и жизнь была ключом. А потом началась перестройка, о которой все без исключения офицеры, прапорщики и их родственники говорили с нескрываемой ненавистью, и ядерные ракеты стали сокращать. Георгий не вникал в то, как именно это происходило, да никто и не сообщил бы ему подробности, даже если бы он и захотел. Очевидным было лишь то, что жизнь в гарнизоне словно замерла. Многих офицеров – Георгий подозревал, что лучших, – перевели служить в другие, более перспективные места. Солдат присылали мало, к тому же, опять-таки к возмущению здешних офицеров, перестали брать в армию студентов, и поэтому «контингент пошел не тот». В общем, Георгию казалось, что жизнь здесь идет теперь как-то по инерции.

Его ощущение подтвердил однажды замполит Беденко. После того как Георгий оформил к полковому смотру стенгазету, которая заняла первое место, тот проникся к нему расположением.

– То ли дело раньше было! – элегическим тоном постоянно пьющего человека говорил замполит, глядя, как в красном свете фонаря проступают на лежащей в ванночке фотобумаге черты его круглого, с обвислыми щеками лица. – Да раньше б я капитан был давно или, может, даже майор, а теперь? Теперь старлей, – уточнил он, как будто Георгий сам этого не знал. – Раньше Катька моя у нас в магазине брала сервиз «Мадонна», так знала, что вся родня на Большой земле от зависти удавится. А теперь что? Теперь сеструха ее за сопляка какого-то выскочила, он этих «Мадонн» с Турции понавез – хоть собак с них корми. Бизнесме-ен! Или вот, к примеру, тебя сюда служить прислали. Ты, Турчин, парень сообразительный, в технике разбираешься. Так ведь таких солдат теперь – раз-два и обчелся. Все больше пролетариат и крестьянство шлют, а с них какой толк в ракетных войсках?

– У меня мать портниха, – заметил Георгий. – Родилась в степи на хуторе. Это как, пролетариат или крестьянство?

– Ну, я же фигурально выражаюсь, – объяснил Беденко. – Я и сам из крестьян. Раньше-то простым людям везде дорога была, это теперь... О, е-мое! – вдруг вспомнил он. – Я ж чего пришел? Я тут кинокамеру вчера обнаружил. И пленка к ней в наличии. Может, глянешь? Парень ты технически грамотный, освоишь. Можно б фильм снять, показали бы потом на смотре. У

всех фотографии, а у нас, пожалуйста, – кино! Короче, завтра получай ее и работай. Пленку только экономь. Лучше сначала просто так поснимай, без пленки – в смысле, потренируйся.

Георгий еле сдержался, чтобы вслух не вспомнить анекдот про психов, которым обещали налить в бассейн воды, если нырять научатся. Но на всякий случай решил воздержаться от комментариев. Беденко не отличался чувством юмора – кто его знает, еще передумает давать камеру!

Конечно, Георгий быстро разобрался, как она работает, несмотря на кондовый язык, которым была написана инструкция. А разобравшись, сразу зарядил пленку и отправился снимать все, что попадалось на глаза. Благо Зинина протекция позволяла ему чувствовать себя относительно свободным в передвижениях.

Он ожидал чего угодно, но только не того, что оказалось связано с его новым занятием. Через неделю возни с камерой он заметил, что на него стали странно поглядывать сослуживцы. Раньше он был такой же, как все – свой, простой парень. Ну, оформляет стенгазету, ходит для этого в библиотеку. Так мало ли чего взбредет в голову начальству, оно не то что книжки читать – сортир пошлет чистить зубной щеткой! Теперь же в отношении к нему солдат – да что там солдат, даже прапора – появилась какая-то почтительность. Допотопная камера выделила его из всех, умение обращаться с ней стало знаком некой исключительности, этого невозможно было не почувствовать. И это, что скрывать, было очень приятно...

– Жорик,ними меня! Дембель скоро, охота кино про себя глянуть! – то и дело слышал он, когда снимал что-нибудь из армейского быта – официальное, вроде маршировки на плацу, или неофициальное, вроде того, как солдаты играют за казармой в «слона» – прыгают через спины друг друга.

И все-таки его больше интересовало даже не это – не исключительность собственного положения в армейской иерархии. Он вдруг понял, что мир, увиденный в визир кинокамеры, сильно отличается от обычного мира. И Георгию хотелось уловить суть этого отличия, хотелось понять законы, по которым строится этот странный киношный мир... Он чувствовал, что эти законы существуют, что пусть не все, но хотя бы некоторые из них можно просто узнать, а не нащупывать вслепую.

Но узнать их было не у кого, все приходилось осваивать самому.

Он долго бился над тем, как соединить в кадре движение и неподвижность. Ловил в объектив птиц, летящих над верхушками темных елей, снимал во время сильного ветра, чтобы тучи не просто плыли, а стремительно мчались по небу. Но чувствовал, что этого мало, что настоящего, словно на игольном острие, чувства жизни не создают ни птицы, ни тучи. И так продолжалось до тех пор, пока в объектив случайно не попала Зина.

Это произошло обычным сумрачным днем. Она шла вдоль забора к Дому офицеров, и у Георгия сердце замерло, когда он увидел эту картину: маленькая девушка, трепетность походки которой заметна, несмотря даже на неуклюжую шубу, – на фоне темной, словно ножницами вырезанной кромки бесконечного леса, на фоне колючей проволоки забора, на фоне неподвижной и суровой жизни... Георгий медленно вел камеру вслед за Зиной, радуясь, что она его не замечает. Обычно-то она сразу замечала его, даже головой специально начинала вертеть, как только входила на территорию части, а тут задумалась, наверное.

Благодаря Зинину вниманию, которого она не умела скрыть, армейскую жизнь Георгия можно было считать необременительной и даже приятной. Во всяком случае, свободное от дежурств время можно было проводить в библиотеке – считалось, что он ищет материал для очередной стенгазеты или для какого-нибудь агитационного стенда. Да, собственно, никто особо и не интересовался, чем занимается в библиотеке рядовой Турчин. А чего интересоваться, если командир части разрешил? Командиром части был Зинин отец, подполковник Бережной, и ей не составило особого труда добиться у него этого разрешения. Конечно, Зина была жалостлива, и, конечно, ей хотелось помочь солдатику, которого тянет к книжкам. Но

гораздо больше ей хотелось другого, и это так ясно читалось в ее взгляде, что пень бы догадался. Георгий догадался в первый же день, когда ее увидел, и все последующие дни только подтверждали эту незамысловатую догадку.

Вообще-то Зина не вызывала у него никаких чувств. Но ведь и не было до сих пор девушки, которая их вызывала бы. Он был горяч, безогляден, силы гуляли в его теле, силам было тесно... А Зина летела к нему, как перышко на подставленную ладонь.

И все-таки Георгий старался как можно дальше отодвинуть момент, в который все должно было у него с ней произойти. Он и сам не понимал, почему ему становится неловко, когда он смотрит в Зинины распахнутые глаза, и почему хочется отвернуться.

Спустя три месяца после того дня, когда Георгий впервые пришел за старыми журналами, он сидел на корточках в глубине библиотеки, между стеллажами, и листал книгу, которую только что заметил на самой нижней полке. Книга была новая, Георгий сразу понял, что он, пожалуй, второй человек, который ее открывает. А первой была, наверное, покойная старушка-библиотекарша.

Он с детства полюбил читать вразброс, заглядывая то в середину, то в конец книги. Ему был интересен не столько сюжет, сколько что-то другое, главное, что не зависело ни от сюжета, ни от порядка чтения. Он смутно чувствовал, есть это главное в книге или нет, и ему было почти все равно, с начала читать или с конца.

А в этой книге оно было, и Георгий просто впился глазами в строчки. Страницы дышали страстью, как, наверное, дышал ею характер написавшего их человека. И Георгию вдруг показалось, что он смотрит не на книжные страницы, а в визир кинокамеры. Чувство было то же самое, и это так потрясло его, что он даже не сразу прочитал название книги.

Он читал о том, как узник бежал из тюрьмы, находящейся на острове, – как он тайком сделал плот из кокосовых орехов, как решил брать с собой только самое необходимое и взял бритву «Жиллетт», чтобы ни дня не оставаться небритым, хотя он плыл по океану в полном одиночестве... Эта деталь показалась ему такой яркой, что весь человек предстал перед ним как наяву, ничего больше можно было о нем не говорить.

Георгий представлял, как можно было бы снять эту сцену: вот узник собирает вещи для побега, вот кладет в мешок бритву, тоненькую, совсем сточенную. Он видел все это так чисто, ярко – большие, с чуткими пальцами руки, машинально укладывающие мешок; океан, бушующий за зарешеченным окном...

Вдруг он почувствовал, как чьи-то руки ложатся ему на плечи. В том состоянии внимания и восторга, в котором он находился сейчас, все его чувства были обострены. Пожалуй, Зина специально не нашла бы лучшей минуты, чтобы близость их началась наверняка.

Он на мгновение замер, всем телом прислушиваясь к тому, как вздрагивают ее ладони, как она прижимается к его спине сначала коленями, а потом и всеми ногами, и животом... Зина дышала прерывисто, почти неслышно. Георгий медленно повернул голову, взглянул в ее пунцовое лицо, оказавшееся почти перед его глазами. Губы ее были чуть приоткрыты, но не призывно, а, как и в день их знакомства, растерянно, почти испуганно.

Он поднялся во весь рост, и Зина сразу очутилась у него чуть ли не под мышкой.

– Я не чтоб помешать... – пролепетала она куда-то ему в грудь. – Я думала, книжку помочь... поискать.. найти...

Георгий не понимал, что исходит от этой маленькой девушки. Кажется, это было не просто желание, и, может быть, даже вообще не желание, а что-то совсем другое – неясное, неловкое. Но думать об этом, когда женщина дышит прямо в грудь, он уже не мог. Он почувствовал, что в глазах у него темнеет, и, наклонившись, накрыл губами Зинины испуганные губы. Она с готовностью приоткрыла их пошире и даже на цыпочки привстала, чтобы сильнее прижаться к нему. Но он уже и без того стиснул ее в объятиях так сильно, что ей, наверное, даже больно стало. Она вскрикнула – совсем тихо, почти вздохнула – и сразу же вскинула руки, обняла его

за шею, как будто испугалась, что он оттолкнет ее. Какое там! У него и в мыслях не было ее отталкивать – у него вообще ничего уже не было в мыслях, в рыжей его, пылающей голове.

Георгий целовал Зину, руки у него дрожали, когда он неумело теребил шершавые пуговицы на ее голубой блузке. И у Зины тоже дрожали руки, когда она помогала ему расстегнуть эти неудобно обшитые тканью пуговицы, когда сама расстегивала застежку на лифчике, чтобы совсем ничто не мешало ему – его большим горячим ладоням, его пальцам, сжимающим ее грудь...

Он сам расстегнул «молнию» на ее юбке, и Зина торопливо стоптала тесную юбку на пол. Георгий бросил рядом свой бушлат, гимнастерку и прошептал:

– Ложись, Зин, ложись сюда, а?..

Колени у нее послушно подогнулись, она легла на пол между стеллажами, и Георгий упал на колени рядом с ней. Ему вдруг показалось, что ей жестко лежать головой на полу, и, накрывая ее сверху своим телом, он подsunул руку ей под голову. Шпильки выпали из ее прически, светлые волосы тут же хлынули, как потоки воды – на крашеный скрипучий пол, на руки Георгия... Волосы льнули, липли к его голой груди, щекотали и возбуждали больше, чем возбуждала сама Зина. Она затихла под ним, как мышка в норе, и только послушно выполняла все, чего без слов требовали его руки, его раздвигающиеся между ее ногами колени – все его большое тело.

– Ты не бойся, Зин, я осторожно... Зиночка... быстро... – шептал он, сам не понимая смысла своих слов.

Неизвестно, боялась она или нет, но была так податлива, как будто малейшее ее неверное движение могло оказаться роковым, как будто Георгий мог в любую секунду отпрянуть из-за какой-нибудь ее неловкости. Но он уже был в ней, уже двигался размеренно и мощно, и все его тело сильными, живыми токами, как узами, было привязано к ее дрожащему телу.

Все это длилось гораздо дольше, чем он мог ожидать от себя после полугода армейского воздержания. Прямо перед его глазами трепетали на полу страницы раскрытой книги про узника по кличке Мотылек, убегали куда-то буквы...

Наконец Георгий почувствовал, что телесные токи становятся в нем совсем сильными, жгучими – и наслаждение пронизывает его, заполняет до краев. Что чувствовала при этом Зина, он не знал: она по-прежнему молчала, часто дышала и была неподвижна под ним.

Он застонал, вдавливая ее в пол, задрожал и замер, потом наконец отпрянул от нее, перевернулся на спину. Рука его затекла у Зины под головой, но сейчас Георгий не чувствовал этого, потому что горячие иголки кололи изнутри не только руку, но и все тело. Он был как песок, наконец-то пропитавшийся дождевой водой.

– Гошенька... – вдруг тихо произнесла Зина.

Взглянув на нее, Георгий с удивлением заметил, что в глазах ее стоят слезы.

– Что ты? – шепнул он и притянул к себе ее голову, поцеловал в висок, в светлую струю волос. – Испугалась?

– Нет, Гошенька, я... Ты не думай, я не гулящая, а что ты не первый у меня, так только второй, честное слово!..

Вот уж о чем он точно не думал сейчас! Георгий вспомнил, что Зина и в самом деле была слишком податлива для нежной и невинной девушки, какой она казалась, и преград никаких ему не было. Ну и что?

– Дурочка, – улыбнулся он. – Что я, счетчик при тебе?

«Мое-то какое дело?» – подумал он при этом.

Он осторожно высвободил руку из-под Зининой головы, принялся сжимать и разжимать затекшие пальцы. Зина тем временем застегивала блузку, закалывала волосы шпильками, которые быстро собирала с пола. В ее движениях была какая-то особенная женская умелость, и Георгий вдруг почувствовал, что умелость эта ему неприятна. А почему, он не знал.

Зина шмыгнула носом и вздохнула.

– У нас же тут знаешь как, – извиняющимся тоном сказала она. – Деревня глухая, тайга кругом... Кажется, ничего в жизни больше и не будет, никого не встретишь. Вот я и поддаюсь, когда парень хороший попался. А он, видишь, как... Был солдатик да сплыл. Но ты же не так, правда, Гошенька?

Этого только не хватало! В Зининых глазах, наивно распахнутых ему навстречу, стояла такая унылая трезвость, такой простой житейский расчет, что Георгию стало тошно. А ему-то еще казалось, что она может обидеться на его голодную торопливость и на то, что он ни слова не сказал ей про любовь, как положено...

Впрочем, насторожившись, Георгий одновременно успокоился. По крайней мере, было понятно, как вести себя дальше.

– Зин, я книгу возьму, ладно? – сказал он, не отвечая на ее вопрос. – Вот эту, «Папийон». Я тут прочитал пару страниц – интересная...

Зина улыбнулась так ласково и снисходительно, как будто ее попросил о какой-то ерунде малый ребенок.

– Да бери, конечно, – сказала она и провела рукой по его стриженной голове. – Ты, Гоша, красивый... Жалко, что рыжий, но ничего, глаза зато красивые у тебя.

– Да? – засмеялся он. – За красивые глаза, выходит, книжки дают читать? Я пойду, Зин, построение скоро.

Георгий шел к казарме, смотрел, задрав голову, на весеннюю кромку деревьев – зеленую лиственную дымку, – и ему было легко, радостно. Он во всем теле чувствовал свою молодую радость и совсем не думал о Зине. А думал о книжке про Мотылька-Папийона, о том, как страницы ее сами собою становятся картинками, подмигивают ему, дразнят его и смеются как живые.

Когда, набродившись с камерой до гула в ногах, он вернулся в общагу, Федька уже лежал в кровати.

– Чего так рано, Федот? – спросил Георгий. – Заболел, что ли?

– Да устал, как скот, – пожаловался тот. – С последней пары смылся и вот только что пришел. Объявления расклеивал. Ноги гудят, промерз, еле водкой отогрелся.

– Какие объявления? – удивился Георгий.

– Да насчет жилья. В смысле, варианты жилья ищу для обмена.

– А что тебе менять? – не понял Георгий.

– Ну, Рыжий, ты совсем тормоз! – хмыкнул Федька. – Не мне менять, а гражданам. Гражданам помогаю жилье поменять, сечешь? Слушай... – Он вдруг словно догадался о чем-то. – Может, и ты присоединишься? Вместе быстрее бы пошло. Это ж в разных концах Москвы, от Медведкова до Выхина мотаться – прикинь! А так бы – ты, например, в Солнцева клеишь, я в Чертанове. Время – деньги.

– Ну давай, – пожал плечами Георгий. – Ты только объясни толком, что за жилье, каким гражданам...

– Завтра объясню, – пробормотал Федька. – Я уже отруба-аюсь...

Глава 7

Оказалось, что Казенав подрядился работать на какого-то мужика, который занимался расселением коммуналоч. Федька клеил объявления в спальных районах, подыскивая варианты жилья для капризных жителей центра. Мужик платил немного, зато график работы был свободный, можно было не пропускать занятия.

– Но тебе же самому эти деньги нелишние, – засомневался Георгий, когда Федька изложил ему суть дела и предложил работать на пару. – Попробуй найди такую подработку...

– Кинь дурное, Рыжий, – махнул рукой тот. – Я, конечно, прижимистый хохол, но это все равно не деньги. Хотя в принципе работа перспективная. Только если не вслепую объявления клеить, а самому дело вести.

– Ну, это уж вообще, – покрутил головой Георгий. – Как это – самому? Ты, что ли, умеешь коммуналки эти расселять? Да там небось одних документов куча... Кинут, потом не рассчитаешься.

– Ну, куча, – кивнул Федька. – И чего? Думаешь, работодатель мой в институте выучился в бумажках этих соображать? Он, между прочим, вообще художник. Тут главное связи, а с бумажками разберемся как-нибудь, не глупее паровоза. Да ты разуй глаза, Жорик! Кто сейчас то делает, чему в институте учился? Ты Серегу Русского знаешь? Ну, который в прошлом году режиссерский закончил. Да ты его видел, он к Лорке недавно заходил – любовь у них когда-то была. Вот он, между прочим, вольфрам продает.

– Как это? – не понял Георгий. – А где он его берет?

Федька посмотрел на него, как на несмышленного младенца.

– Да нигде не берет, – разъяснил он. – Он его в глаза никогда не видал, вольфрама. Посредник он, понимаешь? Сводит покупателя с продавцом, рубит на этом бабки. Нарубит побольше – фильм снимет. Первоначальное накопление капитала, слышал такой термин? Типа Рокфеллера. Ты, Рыжий, совсем от жизни отстал со своей Марфой.

– При чем тут Марфа? – пожал плечами Георгий.

– Ну, ни при чем, ни при чем, – усмехнулся Федька. – Хотя, между прочим, поймем в виду, что таких девочек за голоту всякую мама-папа не отдают.

– Ты, Федот, свихнулся на своем первоначальном накоплении, – рассердился Георгий. – Я что, жениться на ней собираюсь, по-твоему?

– Ты, может, и не собираешься, – снова усмехнулся Федька, – но если она соберется, а особенно если Марья Самойловна решит, что пора ей за тебя замуж, – куда ты денешься? – Заметив, что лицо у Георгия каменеет, Федька поспешил вернуться к более спокойной теме: – Короче, можешь завтра и приступить. Только их самому надо писать, объявления эти, у меня уже рука отваливается, а машинка как назло сломалась. Я тут с одним приятелем договорился, он на фирме работает – пустит на компьютере постучать. Заодно технику освоишь, а то ходишь, как лох, а еще оператор.

Что и говорить, Федькина «помощь гражданам» оказалась очень кстати. Таганрогские деньги таяли как снег, на стипендию можно было разве что питаться, да и то хлебом с молоком. На помощь матери Георгий не рассчитывал: зарплату на ее швейной фабрике не давали с сентября, а шитье на заказ... Не такой уж выдающейся портнихой была мама, чтобы иметь богатых клиенток, а ее знакомые и знакомые знакомых сами жили с огородами, и им было не до одежды.

Георгий попытался было подработать в Москве так же, как подрабатывал в Таганроге, – съемками свадеб и детсадовских групп, но ему быстро объяснили, что в этой сфере все давно поделено и в его услугах никто не нуждается. К тому же требовался не его «Зенит», а аппара-

тура такого качества, какой у Георгия и быть не могло. Да еще какие-нибудь детские костюмы понаряднее, да реквизит... Он уже собирался отправиться на вокзал, чтобы разгружать по ночам вагоны – был же раньше такой способ подработки, он читал, – да тут как раз подвернулось Федькино предложение.

И какая же она необъятная оказалась, эта Москва! Георгий думал, что много бродил по ней, просто так или с фотоаппаратом. Но после недели расклеивания объявлений он понял, что центр, который он и в самом деле знал уже неплохо, это только сотая доля огромного неласкового города... А названия улиц! Никаких тебе Староконюшенных переулков – Пятая Шарикоподшипниковская, Газгольдерная, Элеваторная...

Были районы, которые вызывали у него просто тоску, – Бирюлево, например. Георгий и сам не мог объяснить, почему ему делается не по себе, когда, потолкавшись час в метро, он попадает в этот мрачный район. Было в здешних домах какое-то особое уныние, и, только при-смотревшись, Георгий понял, когда оно возникает у него: когда он смотрит на многоэтажки с квартирами-малосемейками. Эти одинаковые дома, которых здесь было особенно много, напоминали соты – так часто были натканы в них окна. Непонятно было, где же помещаются люди, как им удается выпрямляться во весь рост в своих квартирах, если окна верхних этажей почти прилеплены к окнам этажей нижних...

Федька тоже был не в восторге от окраинной Москвы.

– Еще говорят «спальные районы»! – возмущался он. – С кем там спать-то? Видал ты этих баб? Как лошади ломовые, а морды – на ночь увидишь, утром импотентом проснешься!

Работодателя Георгий не видел – с ним общался Федька, – да особо им и не интересовался: деньги платит, и ладно.

Были в его жизни дела более важные – беспокойные, тревожные и неясные. И главным таким «делом» была Марфа. Можно было сколько угодно злиться на Федьку, намекавшего на какие-то особые его отношения с этой насмешливой девушкой, но того, что особые отношения есть, не видеть было уже невозможно. Вот только Георгий не понимал смысла этих отношений ни со своей, ни с Марфиной стороны, и это волновало его, раздражало и даже злило.

Первой сессии тоже радоваться не приходилось. Камнем преткновения оказался английский, и Георгий понимал: даже если он вывернется наизнанку и вспомнит все, что знал в школе и забыл в армии, все равно не выучит язык до такой степени совершенства, которой требовала введливая преподша Регина.

– Если уж вы поступили в институт, – весь семестр повторяла она, – меня больше не интересуют сопутствующие обстоятельства: качество преподавания в ваших школах, и как давно вы эти школы закончили, и есть ли у вас вообще способности к языку. Вы сами должны понимать, что совковое «моя твоя не понимай» теперь уже выглядит где-нибудь на Венецианском фестивале дико.

Глядя в Регинины презрительно сощуренные глаза, Георгий думал отнюдь не о Венецианском фестивале, а о том, что как пить дать не получит зачет. Так оно, разумеется, и вышло.

– Единственное, что я могу для вас сделать, Турчин, – холодно объяснила Регина, – это поставить вам зачет условно. Учтите, это первая и последняя моя вам уступка. Я просто даю вам возможность сдавать сессию дальше. Но после экзаменов придете ко мне еще раз. И если ваши знания опять будут так же блистательны...

Что будет в этом случае, она не уточнила, а Георгий счел за благо не спрашивать. Поэтому, чем ближе было окончание сессии, тем больше портилось у него настроение.

Конечно, Марфе он старался этого не показывать. Еще не хватало, как первоклассник, расстраиваться из-за двойки в четверти! А объяснять ей, чем может ему грозить несдача этого чертова зачета, Георгий не хотел. Стыдно вылететь из института из-за какого-то английского, а еще стыднее – признаваться, что боишься этого...

– Просто я думала, что ты захочешь отметить первую сессию.

Марфа смотрела хоть и с обычной своей невозмутимостью, но все-таки немного удивленно и немного... Георгию на секунду показалось, что даже расстроено. Впечатление тут же развеялось, но именно в эту секунду он сказал совсем не то, что собирался сказать:

– Да я хочу вообще-то... – пробормотал он. – Только...

– Только денег нет? – усмехнулась Марфа.

Денег, конечно, тоже не было, но главная причина была в том, что сессия для него вовсе не закончилась с последним экзаменом: завтра предстояло пересдавать зачет Регине.

– Герочка, – заявила Марфа, – в каких-то ситуациях ты уже ведешь себя более интеллигентно, чем раньше, и это радует, но иногда ты по-прежнему – как будто из лесу вышел. Знаешь, что Пушкин писал в тему?

– Ну, и что писал Пушкин? – хмуро поинтересовался Георгий.

– «Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрыть лишений» – так говорил классик. А к классикам иногда стоит прислушиваться, – отчеканила Марфа.

Георгий не выдержал и улыбнулся. Он вдруг почувствовал в Марфиных словах, а еще больше в ее голосе, взгляде и в том, как она грызла кончик косы, – не обычную ее наставительную насмешку, а что-то совсем другое... Что-то детское, наивное, почти беспомощное.

– Ты знаешь, – сказала она, словно в подтверждение этой его догадки, – мне почему-то так грустно, тревожно даже. То есть я знаю, почему, но... В общем, хочется немного оторваться, и я думала, ты составишь компанию.

– Так приходи в общагу, – предложил Георгий. – Уж что-что, а компанию на «оторваться» найдем.

– Я же не сказала, что хочу оторваться в компании, – покачала головой Марфа. – Тем более в общаге. Может быть, мы лучше посидим с тобой где-нибудь? За жизнь поговорим, ты же любитель, по-моему. – И, почувствовав его замешательство, добавила: – Я гонорар получила за статью, с удовольствием его прогуляю.

Георгий чуть не пожал плечами со словами: «Ну ладно, пошли», да вовремя спохватился и сказал:

– Спасибо за приглашение. А где ты хочешь посидеть?

Посидеть решили в подвальчике на Сивцевом Вражке. Несмотря на близость к Арбату, кафешка оказалась не пафосная. На закуску взяли салат «Оливье» и бутерброды, которые Марфа назвала «бутербродами с борщом» из-за того, что на них лежали какие-то красноватые выжимки. Литровую бутылку водки Георгий принес с собой и незаметно подливал из нее себе и Марфе, когда закончилась заказанная для приличия местная, все-таки довольно дорогая, выпивка.

– Я сюда часто захожу, – сказала Марфа. – Исключительно из ностальгических чувств. Столы эти исцарапанные, дурацкие виды Москвы на стенах намалеваны... Напоминает рюмочную, юность.

– А то теперь ты старая, – улыбнулся Георгий. – И с чего это у тебя ностальгия по рюмочным?

– Не столько по рюмочным, сколько по простоте чувств. – Марфа улыбнулась в ответ. – Хотя я и разделяю мнение, что простота хуже воровства, но иногда ее не хватает. А если бы не ты, я вообще думала бы, что она сохранилась только у идиотов.

– Погоди. – Георгий покрутил головой, словно пытаясь разогнать хмель. – Что-то быстро я запьянел, не успеваю за твоей логикой. В каком смысле – если бы не я?

То ли он действительно опьянел быстрее, чем ожидал, то ли Марфа, вопреки обычному, неточно сформулировала свою мысль.

Но вместо того чтобы ответить на его вопрос, она продолжала:

– Конечно, я не чувствую себя старой. Просто за пять лет, которые прошли с тех пор, как я закончила школу, жизнь изменилась очень сильно. Как ты догадываешься, я имею в виду не достижения демократии и не расстрел парламента.

Георгий меньше всего думал сейчас о случившемся в октябре расстреле парламента, хотя в те дни он ноги стер, бегая с фотоаппаратом от Останкина к Белому дому и пытаясь понять, что происходит – не в политике, конечно, а в людях.

– А по рюмочным я ходила со старшими товарищами, – объяснила Марфа. – У нас же вечно дома всякие творческие личности вертелись, ну, я и сопровождала их в нелегком пути по значным местам родного города. По рюмочным и пивным главным образом. Знаешь, как это называлось? – засмеялась она. – Выпивать с пересадками. А беседовали они исключительно на вечные темы и решали вечные вопросы. Вот это и изменилось. Рюмочные закрылись за нерентабельностью, вечные вопросы стали неактуальными.

– Почему? – спросил Георгий.

– Потому что с ними все в общем-то понятно, – объяснила Марфа. – Вечные вопросы решены без нас. А вот как нам зарабатывать деньги – это вопрос неисчерпаемый, и без нас его никто не решит.

– Нам – это кому? – с пьяной настойчивостью не отставал Георгий.

– Ну, будем самонадеянно считать, что нам – это творческим личностям.

– И мне?

– Тебе в самой большой степени. Или ты этого еще не понял?

– Насчет денег-то я понял... – проговорил Георгий и залпом выпил водку, оставшуюся в стакане. – Я, знаешь, неплохую подработку нашел.

Выслушав про расклеивание объявлений, Марфа только плечами пожала.

– Я не это имела в виду, – сказала она. – Все студенты где-нибудь подрабатывают, ничего в этом нет особенного. Я имела в виду, что ты как в высшей степени творческий человек – а об этом можно догадаться по твоим фотографиям и съемкам, а также по сумбурным мыслям, которые ты мне время от времени излагаешь, – так вот, ты вынужден будешь сделать выбор между творчеством и деньгами, и никуда тебе от этого не деться.

Из всей ее длинной фразы Георгий понял только, что она считает его в высшей степени творческим человеком, и это наполнило его такой гордостью и одновременно смущением, что он налил себе почти полный стакан и быстро выпил, не закусывая.

– Не знаю я – ну, насчет творчества и денег, – сказал он, чувствуя, что язык понемногу начинает заплетаться. – Мне пока ни того ни другого никто не предлагал.

– Рано еще, – усмехнулась Марфа. – Молодой ты еще, кто и за что тебе все это предлагать будет? «Мальчонка, да парень молодой-молодой, в красной рубашоночке – хорошенький такой...» – вдруг пропела она, тоненько и точно, как будто на уроке сольфеджио.

– Музыкой занималась? – улыбнулся Георгий. – Конечно, занималась, тебя же правильно воспитывали.

– А тебя очень угнетает правильность моего воспитания? – прищурилась Марфа. – Слушай, Гера, – вдруг заметила она, – да ты же уже совсем пьяный! Глаза мутные...

Георгий и в самом деле опьянел мгновенно – то ли от последнего полного стакана, то ли от ее слов о том, что он творческий человек.

– Н-не-ет, н-ничего... – пробормотал он. – Я в норме, давай еще посидим... Еще водка есть...

– Давай, – пожала плечами Марфа. – Тем более, такая святая причина: водка есть!

– Знаешь, я хотел тебе рассказать... – Георгий чувствовал, что хмель заливает его совсем, что язык у него развязывается – просто физически развязывается и становится как вялая веревка. – Я все время думаю последнее время... Мне покоя не дает, и я хотел тебе сказать...

– Что тебе покоя не дает?

Георгию показалось, что в голосе Марфы, доносящемся до него словно издали, мелькнула то ли робость, то ли тревога. Но он уже не мог вслушиваться в оттенки ее голоса.

– Знаешь, я думаю про одну книгу... То есть про фильм... В смысле, это, конечно, книга, но, когда я ее читаю, мне кажется, что я мог бы снять по ней фильм. Я просто каждый кадр вижу.

– А-а... – протянула Марфа. – Фильм по книге... Да, интересно.

– Понимаешь, – не слыша легкого разочарования в ее голосе, продолжал Георгий, – в ней очень много страсти. Не в смысле, что любви, хотя и любовь тоже есть, – а вот именно страсти. Она вся из страсти состоит, мне кажется, в ней каждая страница звенит.

– Это ты весь из страсти состоишь, – улыбнулась Марфа. – Ты сам весь звенишь, Герочка, а не книга. Или горишь, как голова твоя рыжая. Я все время это чувствую в тебе, но... Гера, ты все-таки пьяный! – В ее голосе прозвучало беспокойство. – Как ты до дому доберешься?

Марфино лицо плыло и кружилось у него перед глазами, ему хотелось говорить и говорить ей что-то – о книге про Папийона, о своем одиночестве, о растерянности своей и непонимании, что же ему делать дальше... Но, кажется, Марфа больше не была настроена его слушать.

– Знаешь что, – решительно сказала она, – в таком виде тебя отпустить может только бесчувственный изверг. Тебя отловит первый же мент, и это будет еще наилучший вариант. Поэтому ты пойдешь ко мне.

– К-куда? – тупо выговорил Георгий. – Куда – к тебе?

– Домой ко мне, – объяснила Марфа. – Я живу в соседнем переулке, или ты забыл?

– Как-ком переулке?

Он вообще не понимал, о чем она говорит. Предлагает куда-то с ней пойти? Нет, только не сегодня, он уже и правда что-то... Добраться бы до общаги, куда еще идти!

– В другой раз, ладно? – пробормотал Георгий. – В другой раз пойдем еще куда-нибудь, не сегодня, ладно?..

– Гера, да соберись же хоть немного! – рассердилась она. – Я тебя что, в театр приглашаю? Немедленно в койку!

– В койку? – удивленно повторил он. – С кем – в койку?

– Ну, не со мной же, – пожал плечами Марфа. – Как я успела понять, в этом качестве я тебя не интересую. Пойдем, пойдем! Только двигайся, пожалуйста, сам. Не на руках же тебя тащить, Гулливера такого! Смутно догадываясь, что сейчас он все равно ничего не поймет, Георгий послушно поднялся, схватился обеими руками за край столика, чуть не опрокинул его, уронил бутылку с остатками водки.

– Брось, Гера, брось! – Марфа отняла бутылку, которую он безуспешно пытался поставить на место. – Все равно уже пролилась, пойдем.

От колючего морозного воздуха голова закружилась еще больше. Георгий стоял пошатываясь, хватая воздух пальцами, словно пытаясь уцепиться за него. Марфино лицо в ореоле пушистого меха – откуда мех? Ага, это же капюшон ее шубки, они же уже на улице! – было совсем рядом. Кажется, она улыбалась, и тоненькая прядка темных волос дрожала на ее щеке от улыбки.

– Когда ж я успел так нажраться? – пробормотал Георгий. – Ты прости...

– Долго ли умеючи! – засмеялась Марфа. – Вернее, не умеючи. Да-а, Герочка, твоя страсть не слишком удобна для жизни! Представляю, что было бы, если бы ты влюбился.

– В кого? – пробормотал Георгий.

Он схватился за Марфино плечо, но, почувствовав, что она от этого пошатнулась, тут же отпустил его.

– Да хоть в меня. Думаю, это было бы чудесно... Ладно, пойдем, а то ты сейчас под стеночкой уляжешься. И застегнись хотя бы, простудишься ведь!

Как они шли по Сивцеву Вражку, который показался Георгию просто бесконечным, в какие переулки сворачивали, как вошли в подъезд – всего этого он почти не помнил. Открылась дверь квартиры, мелькнул свет где-то в конце длинного коридора – и Георгию показалось, что он заснул мгновенно, в эту же самую минуту, и прямо на пороге.

Но проснулся он не на пороге, а на узкой кровати. Георгий открыл глаза, но не понял этого. Ему казалось, что веки у него слиплись, что они трескаются, когда он пытается их разлепить. Медленно, с каким-то тяжелым напряжением он догадался наконец, что слеплены не веки, а губы, что они трескаются от сумасшедшей жажды, а глаза уже открыты, уже болят глазные яблоки, когда он пытается оглядеть комнату, в которой неизвестно как очутился. Вернее, он не то чтобы оглядывал комнату – он просто искал то единственное, что было ему сейчас необходимо: воду, холодную воду!

Бутылка минералки обнаружилась почти сразу: она стояла на столике у кровати. Столик был необычный – узкий, длинный, с гнутыми ножками и накладками из потемневшей бронзы, со столешницей такого глубокого золотисто-коричневого цвета, какого Георгию не приходилось видеть. Впрочем, ему было сейчас не до того, чтобы разглядывать мебель. Он с трудом скрутил пластмассовую пробку и, проливая, захлебываясь, стал пить холодную воду.

В комнате было светло, но свет был серым, тусклым – утренним, вечерним? Этого он не понял, да и не мог он сейчас думать ни о времени суток, ни о том, где находится. Он поставил мокрую бутылку на пол у кровати и снова погрузился в то мучительное состояние, которое правильнее было назвать забытием, чем сном.

Когда Георгий снова открыл глаза, он чувствовал себя уже гораздо лучше. Боль почти исчезла, но ее место в голове заполнилось другим, гораздо более неприятным чувством – стыдом.

«Это же я у Марфы... – подумал он, оглядывая комнату почти с ужасом, как будто ожидая обнаружить разгром, который сам же и утворил. – Елки, как же я?.. Что же теперь?..»

Он допил уже ставшую теплой воду и наконец сел на кровати – точнее, на узкой кушетке. Комната была по-прежнему залита непонятным тусклым светом, по которому невозможно было определить, позднее утро сейчас, день или ранний вечер. Георгий поискал глазами какие-нибудь часы и обнаружил их на том самом узком столике, на котором была оставлена для него бутылка минералки. Но что это были за часы! Их держал под мышкой оловянный человечек – сантиметров тридцати ростом, в эмалированном зеленом камзоле, в кремовых чулках, в бордовой жилетке и в широкополой черной шляпе. Человечек был такой необычный, и от него веяло таким старинным, таким изысканным уютом, что Георгий даже забыл, для чего искал часы, и не обратил внимания на время. Он снова обвел глазами комнату – уже не со страхом, а с удивлением. Никогда он такой комнаты не видел!

Она была небольшая, хотя и не казалась тесной из-за высоких потолков и выкрашенных светлой краской стен. Кроме узкой кушетки и такого же узкого столика, на котором рядом с оловянной фигуркой сидел облезлый медвежонок с грустной удлиненной мордочкой, мебели было немного. И вся она была такая же, как столик – из дерева, внутри которого словно светились золотисто-коричневые огоньки.

Открытый секретер, на котором горой лежали книги со множеством закладок; высокий книжный шкаф, в котором книги стояли так плотно, что казалось невозможным вытащить хотя бы одну; еще один, платяной, шкаф с резными узорами на дверцах; кресло, накрытое пестрым стеганым ковриком... Такое же стеганое одеяло лежало на полу рядом с кушеткой; наверное, Георгий сбросил его во сне.

Все здесь дышало небрежным изяществом, во всем чувствовался тот же неброский вкус, что и в Марфиной одежде, – тот вкус, который невозможно воспитать в одной, отдельно взятой девочке, если им не обладала по меньшей мере ее прабабушка...

Георгий с облегчением заметил, что спал одетым. Только ботинки были сброшены и валялись, нерасшнурованные, рядом с кушеткой на темно-бордовом, с мелким восточным орнаментом ковре. Впрочем, было бы странно, если бы Марфа стала стаскивать с него штаны.

«А сама-то она где? – наконец вспомнил он. – Как же я отсюда выберусь? И хоть спасибо надо бы сказать...»

Он осторожно – почему-то показалось, что непременно заскрипит паркет, – встал, на цыпочках подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул в коридор. И тут же отпрянул, прижался к стене. Напротив была открыта еще одна дверь – кажется, в кухню, – и из-за нее доносились голоса.

– В Дом кино вместе поедem? – Георгий сразу узнал голос Марии Самойловны. – Ты же собиpался к обеду вернуться.

– Если успею, Маня, – ответил мужской голос. – Ты меня на всякий случай не жди, поезжай сама.

Голос показался Георгию веселым, хотя произнесена была всего одна, ничего особенного не значащая фраза.

– Поезжай! – Георгию показалось, что он видит, как Мария Самойловна повела плечом – точно так же, как Марфа, – и даже слышит, как при этом звенят ее длинные серебряные серьги. – Неизвестно же, когда Марфа вернется. А как, интересно, я поеду, если он и к обеду не проснется?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.